



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Литературная Груда

7-12



1997

Литературная Грузия

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Грузии

Институт грузинской литературы им. Ш. Руставели

Издательство «Литературная Грузия»

7-12

1997

СОДЕРЖАНИЕ

«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» — 40 ЛЕТ . . .	27
К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ЧАВЧАВАДЗЕ	
ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. Бессмертное имя . . .	5
ЛИНА ХИХАДЗЕ. Образ — Символ . . .	48
НАШ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР	
ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Константин Лорд- кипанидзе . . .	35
ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Михаил Мревли- швили . . .	69
Опора—актив. С Георгием Цицишвили бесе- дует Георгий Чарквиани . . .	99
ТАМАЗ НАТРОШВИЛИ. Гурам Асатиани . . .	133
РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Тенгиз Буачидзе . . .	193
Я многим обязан журналу. Беседа И. Зураба- швили с Романом Миминошвили . . .	229

ПОЭЗИЯ

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ. Молитва. Перевод В. Шефнера . . .	4
ЛИЯ СТУРУА. Стихи. Перевод Инны Ку- лишовой . . .	57
БЕСИК ХАРАНАУЛИ. Стихи. Перевод Гины Челидзе . . .	60
ГИВИ АЛХАЗИШВИЛИ. Стихи. Перевод Ги- ви Оратвелидзе . . .	66
ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Стихи. Перевод Влади- мира Саришвили . . .	158
И остались стихи... Георгий Чарквиани . . .	159

ПРОЗА

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Рассказы. Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе . . .	72
ТАМАЗ ХМАЛАДЗЕ. Рассказы. Перевод Майи Мерабишвили . . .	102

НОВОЕ ИМЯ

ИРИНЭ БАКАНИДЗЕ. В петле. Рассказ. Перевод Ирины Зурабашвили. Ввод- ное слово. Гамаза Васадзе . . .	139
---	-----

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ



КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Стихи разных лет. В переводах Юрия Ряшенцева, Ми- хаила Синельникова, Бориса Брика, Валерия Краснопольско- го, Александра Радковского	88
ГЕОРГИЙ ЧАРКВИАНИ. Последний голу- бовец	93
ТЕЙМУРАЗ I (1589—1663). Розы Уст. Пе- ревод Георгия Ашкинадзе	41
АЛЕКСАНДР ГВАХАРИА. Венценосный поэт	40

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ. Стихи	128
ИННА КУЛИШОВА. Стихи	130

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

НАНА ГВИНЕПАДЗЕ. Ореол. Перевод Майи Мерабишвили	197
Посвящения Маро Макашвили: стихи Котэ Ма- кашвили, Раждена Гветадзе, Тамар Эри- стави в переводах Гиви Орагвелидзе и Владимира Саришвили	214

АНКЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»

«Как мы пишем». На вопросы нашей анкеты от- вечает писатель Тамаз Чиладзе	96
--	----

РАЗДУМЬЯ О ТЕАТРЕ

МИХАИЛ ТУМАНИШВИЛИ. Импровизации на тему «Вишневого сада». Вступительное слово Георгия Маргвелашвили	161
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ТЕЙМУРАЗ МИБЧУАНИ. Мухаджирство и грузинская интеллигенция	217
«В Грузии нет этнических конфликтов». Беседа Ирины Зурабашвили с А. Б. Герасимовым	224

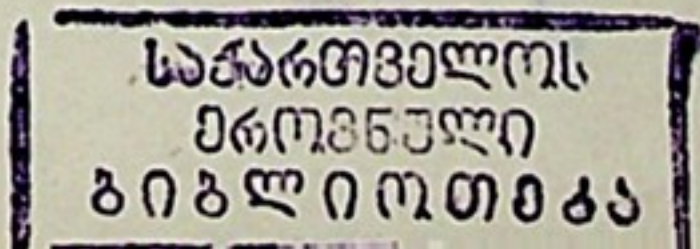
СТРАНИЧКА ИЗ БЛОКНОТА

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. «Слова подсказывает Бог...»	232
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ОТАР ДЖАНЕЛИДЗЕ. «Грузинская мысль»	237
--	-----

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Наш Гурам	244
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. Воин слова	247
ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. «...На земле этой вечной живу»	248
Прощание с другом	250
Коротко об авторах	252




Илья ЧАВЧАВАДЗЕ

Молитва

**К стопам твоим припав, о Боже правый,
Я ни богатства не прошу, ни славы,
Святой молитвы осквернить не смею...
Но, благодатью осенен твоею,
К тебе прибегну я с мольбой иною:
Врагов, что нож заносят надо мною,
Прости и не ввергай в крошечный ад, —
Они не знают, что они творят!**

17 июля 1858
Тярлево

Перевод В. ШЕФНЕРА



К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ

Заза АБЗИАНИДЗЕ

БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ

«Быть может, ни одна из гениальных личностей не сыграла в истории своего народа такой огромной роли, как Илья Чавчавадзе — для Грузии. Эта не имеющая аналогов роль свидетельствовала, с одной стороны, о его особенном таланте, а с другой, об упадке нашей страны...» — писал Якоб Гогebaшвили. Действительно, Илья Чавчавадзе подал пример жизни, и после смерти сопутствующей и хранящей нацию, оставив символом предостережения обелиск в Цицамури, острием меча приставленный к груди каждого истинного грузина.

Воссоздать портрет молодого Ильи так же сложно, как и портрет молодого Моисея. Кажется, будущий духовный отец нации уже с юности должен был быть мудрецом, отмечен свыше знаком, дающим сознание его великой цели и особой миссии.

Воспоминания современников Ильи Чавчавадзе помогут нам разобраться — что в данном портрете истинно, а что — плод нашего воображения, продиктованный желанием приукрасить канонизированный уже образ Ильи-праведника.

Вот каким запомнился маленький Илья его воспитательнице — Саломэ Лоладзе: «Илья был суцим ангелом. Шалить и играть не любил. Зато усердно занимался и много читал. Был очень здоровым мальчуганом, весьма упитанным, причем настолько, что родных беспокоила его излишняя полнота.

Стихи сочинял с малых лет. Помню, он написал чудные стихи о марани, о башне...»

Это та башня, что в свое время была построена во дворе дома Чавчавадзе для защиты от набегов лезгин. Именно там 27 октября 1837 года и родился Илья Чавчавадзе.

Отец Ильи — Григол Чавчавадзе, испытанный в боях бесстрашный воин, вероятно, находился в то время где-то в окрестностях Кварели, чтобы вместе со своими соратниками отразить возможное нападение лезгин.

Именно отец рассказывал Илье о прошлых сражениях и истории Грузии. Сам этот ритуал — семейных рассказов — описан в автобиографическом рассказе писателя «Николоз Госташабашвили», а к историческим сюжетам и персонажам, запечатлевшимся в детской памяти, писатель вернется еще не раз.

Читать и писать Илью научила мать — Магдана (в замужестве Мариам) Бебуришвили. У Григола Чавчавадзе была очень ценная фамильная библиотека. И Магдана, со своей стороны, привезла из Тбилиси замечательные книги, полученные в приданое (тут же отмечу, что ее семья, несмотря на григорианское вероисповедание, следовала грузинским традициям). Так что Мариам, сама еще очень юная (она вышла замуж в четырнадцать лет), с искренним интересом читала своим детям старинные истории, легенды, рассказы и стихотворения, развивающие и обогащающие ум и душу.

Следующим учителем мальчика стал сельский священник — Николоз Сепашвили. Как вспоминал сам Илья Чавчавадзе, «священник этот отлично знал грузинский и имел славу знатока Священного писания. Однако главным его достоинством был талант замечательного рассказчика. Он говорил на простом и понятном детям языке, повествуя о событиях из Священного писания, из истории родной страны, о героических подвигах, о людях, сеявших добро и потрудившихся во славу и защиту отечества и веры.

Многие из этих рассказов запали мне в душу, и спустя годы я использовал один из них в своей поэме «Дмитрий Самопожертвователь». Еще одна небольшая история послужила сюжетом для рождественского рассказа, и некоторые эпизоды из моего «Рассказа нищего» написаны под влиянием историй сельского священника».

Пятнадцать лет спустя, возвратившись из Петербурга в Кварели, Илья Чавчавадзе, истосковавшийся по родному сол-

нцу и небу, в стихах выразит свою любовь к отчизне, вну-
шенную ему в юные годы раз и навсегда:



С тех пор, как я тебя люблю, в томительном волненье,
О родина, я потерял и сон мой и покой!
Мне внятно сердца твоего тревожное биенье.
Так ночь за ночью, день за днем с тобою я душой.

Упорным думам нет конца. Они все льются, льются.
Столкнулись чувства с чувствами во внутренней борьбе.
Но не ропщу на них ничуть, пускай они мнутся:
Живу лишь думой о тебе, вся жизнь в любви к тебе.

Но, родина! Да будет мук тебе ясна причина.
О том я пламенно скорблю, что мой пытливый ум
Средь сонма всех твоих сынов еще не встретил сына,
Кому бы я поведать мог рои тревожных дум!..

(Перевод М. Т а л о в а)

Это — не поэтическая условность: на первый взгляд, Илья Чавчавадзе не имел недостатка ни в друзьях, ни в соратниках, но, как видно, было в его характере нечто такое, что заставляло даже ближайших ему людей держаться на почтительном от него расстоянии, и эта его осторожность, своего рода щит против фамильярности, исключала, по-видимому, полную откровенность и доверие. Очевидно, такова участь всех великих людей.

Друг юности Ильи Чавчавадзе Кохта Абхази вспоминал, что «Илья с малых лет, хоть и был нелюдим и молчун, но уже тогда за ним замечалась способность вышучивать кого-то или что-то. Это ему удавалось на славу, и если он хотел посмеяться над кем-то, то мог уничтожить словом».

Согласно воспоминаниям современников, сочетание этих свойств — отчужденность, молчаливая уединенность и разящий юмор — было у Ильи наследственным, отцовским.

Для людей, поначалу подсознательно чувствующих свою одинокость и избранность и лишь потом осознающих ее, к коим и принадлежал Илья Чавчавадзе, эти черты характера — своего рода защитное средство для сохранения личностной автономии. Не исключено, что врожденные эти свойства писателя еще более обострило его раннее сиротство. В десять лет, когда его только что привезли в Тбилиси и определили в част-

ный пансион, он потерял мать, а в пятнадцать — будучи учащимся уже Тифлисской гимназии — отца.

Именно в это время Илья Чавчавадзе пишет одно из своих первых произведений — «Плач обездоленного», столь же беззащитное и искреннее, как он сам в те годы, когда его так потрясло неожиданное сиротство:

Не для меня это солнце взошло,
Кто мне подарит приют и тепло?
Зноем мне дочерна кожу сожгло,
Как на поляне траву.
Счастливо с матерью жил я, с отцом,
У очага собирались втроем,
Смерть унесла их, разрушила дом,
Где преклонить мне главу?

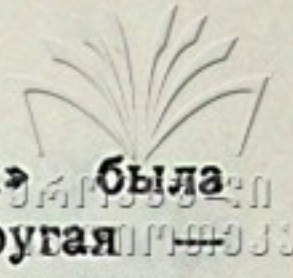
(Перевод В. Сарисвили)

И все же было доброе существо, чью заботу, почти равную материнской, писатель никогда не забывал: это его тетя, сестра отца — Макринэ Чавчавадзе, вдова Иванэ Арагвского Эристави. После смерти матери поэта Макринэ по просьбе брата переехала из Кистаури в Кварели, взяв на себя уход за пятью сиротами. После смерти Григола Чавчавадзе ей пришлось стать для них и отцом, и матерью — учеба, образование, замужество или женитьба племянниц и племянников — вот отныне ее заботы.

Известно, что Илья Чавчавадзе закончил Тифлисскую первую гимназию. За годы, проведенные в гимназии, он, помимо классического образования, приобрел не одного товарища и единомышленника — Нико Гогоберидзе, Петрэ Накашидзе, которому поэт посвятил свои поэмы «Мать-Грузия» и «Дмитрий Самопожертвователь», Иванэ Полторацкого и Илью Ци-намдзгвришвили, им посвящена поэма «Видение», Николоза Джабадари, Закария Мамацашвили, Дмитрия Казбеги.

Но самым близким человеком для Ильи Чавчавадзе и в гимназии, и в годы учебы в Петербургском университете оставался друг детства Кохта Абхази.

Именно благодаря воспоминаниям Кохта Абхази мы знаем о некоторых юношеских увлечениях писателя. В чем заключалась любовь тогдашнего тринадцати-четырнадцатилетнего подростка? Вместе с другом (Кохта Абхази) они шли к дому «возлюбленной» и часами выжидали, когда она выглянет из



окна и улыбнется им. Одна из таких «возлюбленных» была дочерью тифлисского горожанина Тер-Асатурова, другая — дочерью учителя гимназии Дементьева, третья — дочью соседа по Кварели Соломона Чавчавадзе. Соломон приходился отцу Ильи Чавчавадзе двоюродным братом. Однако это обстоятельство не помешало ни Илье в его увлечении очаровательной Элисабед или Лизой, ни Лизиному отцу, всерьез вознамерившемуся поженить молодых. Втайне от Ильи Соломон договорился с его тетей и оплачивал учебу будущего зятя в Петербурге.

Это ли тайное соглашение охладило чувства юного Ильи, или были какие-то иные причины, но по настоятельной просьбе племянника тетя Макринэ вынуждена была расторгнуть соглашение с Соломоном, вернула ему долг, а Илья простился с Лизой стихотворением, начинающимся пасторальной картиной:

Помнишь, милая, с тобою
Мы в саду большом играли?
Славно было!.. Мы любили,
Ни о чем другом не знали.

(Перевод Б. Серебрякова)

и заканчивающимся язвительным укором возлюбленной.

Это стихотворение — «Помнишь, милая, с тобою...» 23-летний Илья Чавчавадзе написал в 1860 году уже в Петербурге. Тайные свидания с Лизой в огромном саду кварельского имения Чавчавадзе летом 1857 г. были уже в прошлом. Этот год в жизни Ильи отмечен многими важными событиями — в январе журнал «Цисғари» опубликовал его первый поэтический перевод («Птичка»). Ближе к лету было принято решение о продолжении учебы Ильи в Петербурге. Этим предстоящим прощанием навеяно стихотворение «Горам Кварели» — первый шедевр его поэзии:

Горы Кварели! Вдали от родного селенья
Может ли сердце о вас вспоминать без волненья?
Где бы я ни был, со мною вы, горы, повсюду, —
Сын ваш мятежный, ужели я вас позабуду?

(Перевод Н. Заболоцкого)

20 июля 1857 года Илья обращается с просьбой к ректору Петербургского университета: «Желая прослушать для завершения образования полный курс камерального отделения юридического факультета Санкт-Петербургского университета, почтительнейше прошу Ваше превосходительство в случае успешной сдачи вступительных экзаменов принять меня в число студентов, обучающихся за свой счет. Имею честь приложить к заявлению мои документы: 1. Свидетельство о рождении и 2. Копию акта о моем княжеском происхождении.

Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе».

Сегодня при повсеместном ослаблении духовных интересов нас поражает пафос и любознательность студенчества той поры. «Не могу описать восторг, который мы испытали, когда нас приняли в университет, — писал Нико Николадзе, подражая тот же Петербургский университет. — Мы последовали общему примеру: посещали не те лекции, слушать которые обязывали нас правила факультета, а те, которые читали всеми любимые профессора... Здесь собиралось столько студентов, что даже самая большая аудитория — одиннадцатая — не могла вместить всех желающих: уже через полчаса в ней трудно было дышать. Профессор порой вынужден был читать лекции в актовом зале, где большинство студентов слушало его стоя».

В то время в Петербургском университете училось около тридцати грузинских студентов и, по словам Нико Николадзе, именно Илья Чавчавадзе был душой грузинского землячества.

Жена петербургского купца Колчина, у которой снимал комнату Илья Чавчавадзе, представляла грузин беспечными, беззаботными людьми и сокрушалась, что этот молодой человек, князь, живет так скромно, отказывает себе в самом необходимом, а по ночам, склонившись над книгой, зловеще кашляет.

У Ильи Чавчавадзе действительно обнаружились признаки чахотки, и лето 1859 года он провел в Кахети. Позднее, видимо, болезнь снова дала о себе знать, и, наверное, этим объясняется тот факт, что Илья не стал дожидаться окончания выпускных экзаменов и весной 1861 года вернулся на родину.

Илья Чавчавадзе раньше других оценил тот факт, что его учеба в Петербурге пришлась именно на шестидесятые годы. Вспомним его известный пассаж из «Записок проезже-

го», где он говорит: «...Эти четыре года — фундамент жизни, ее источник, призрачный мост, проложенный судьбой между тьмой и светом. Но не для всех, а лишь для тех, кто уехал в Россию для работы ума, для пробуждения души и сердца, для того, чтобы встать на ноги...»

С этой благородной целью отправились в Россию и учились в Петербургском университете в те же шестидесятые годы Акакий Церетели, Кирилэ Лорткипанидзе, Нико Гогоберидзе, Бесарион Гогоберидзе, Илья Серебряков, Николоз Джабадари, Алиоз Мизандари, Кохта Абхази. Одни из них — были товарищами Ильи по Тифлисской гимназии, другие — сблизились с ним именно в Петербурге.

Мы мало что знали бы о студенческом периоде жизни Ильи Чавчавадзе, если бы не воспоминания Кохта Абхази (настоящее имя Александр).

«Каждое лето, — вспоминал Кохта Абхази, — грузинские студенты проводили в Павловске, и мы с Ильей обычно тоже приезжали туда. Помню, как-то раз из Павловска отправились мы в Царское Село навестить госпожу Дадiani, дочь правителя Самегрело. Госпожа Дадiani дала нам почитать стихи Николоза Бараташвили, насколько я помню, рукопись поэта. Это были «Мерани» и «Судьба Грузии». Вы не представляете, какое впечатление произвели они на Илью. Почти целую неделю он бредил Бараташвили».

Не исключено, что в первом варианте поэмы Ильи Чавчавадзе «Видение», написанном в Петербурге, его обращение к Арагви:

Люблю тебя, Арагва! Ты была
Свидетельницей доблести грузинской!
В былые дни страна моя цвела
У вод твоих красою исполинской...

(Перевод Н. Заболоцкого)

перекликается с обращением из «Судьбы Грузии»: «Чудные Арагви берега! Яркие луга, деревьев шелест!..»¹.

Здесь же следует отметить, что петербургский период жизни писателя в то же время — пора четкого формирования его художественной индивидуальности. Именно здесь окон-

¹ Перевод Б. Пастернака.

чательно определились интонация и тематический ареал его поэзии: в эти годы написаны первые варианты поэм «Видение», «Мать-Грузия», «Несколько картин или Случай из жизни разбойника», и целый ряд известных, уже ставших хрестоматийными, стихотворений — «Пахарь», («Вол мой, Лаба, общую судьбою мы к земле прикованы с тобою...»), «Молитва», «Пусть я умру, в душе боязни нет...», «Грузинке-матери» («О мать-грузинка! Грудь твоя вскормила героев-сыновей отчизны милой...»), «Колыбельная», «Весна» («Лес расцветает нарядный, ласточки в небе поют...»), программное стихотворение «Поэт», «Элегия» — увиденная издалека, полная тоски и боли картина спящей родины:

В туманном блеске лунного сиянья,
В глубоком сне лежит мой край родной.
Кавказских гор седые изваянья
Стоят вдали, одеты синей мглой.

Какая тишь! Ни шелеста, ни зова...
Безмолвно спит моя отчизна-мать.
Лишь слабый стон среди сумрака ночного
Прорвется вдруг, и стихнет все опять...

Стою один... И тень от горных кряжей
Лежит внизу, печальна и темна.
О Господи! Все сон да сон... Когда же,
Когда же мы воспрянем ото сна?

(Перевод Н. Заболоцкого)

Тем же настроением пронизано и стихотворение-отклик на победы предводителя итальянского освободительного движения Джузеппе Гарибальди — «Слышу звук цепей спадающих...» Илья Чавчавадзе восхищался Гарибальди, одно время даже хотел отправиться волонтером в его армию, и как память об этом его юношеском увлечении в кабинете Ильи рядом с портретом Шота Руставели и Ираклия II неизменно висел портрет итальянского национального героя.

Легко себе представить, с каким пафосом читал Илья Чавчавадзе посвященное Гарибальди стихотворение своим охваченным новыми надеждами друзьям:

Слышу звук цепей спадающих,
Звук цепей неволи древней!
Не гремела никогда еще
Правда над землей так гневно.

Слышу я — и в восхищении
Грудь живой надеждой дышит
Вешний гром освобождения
И в родной стране услышать.

(Перевод В. Державина)

Несколько лет спустя в своем журнале «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии») Илья Чавчавадзе опубликовал посвященную освободительному движению Италии статью Николая Добролюбова, чье полемическое острие было направлено против самодержавия.

К слову, биограф писателя Григол Кипшидзе писал: «Тогдашняя российская литература достигла небывалого подъема. В поэзии и поэтической прозе царили сперва Гоголь и Лермонтов, Лев Толстой, Тургенев и Некрасов, а позднее их последователи: Григорович, Гончаров, Достоевский — апостолы новой жизни; в публицистике блистали Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Петербургский университет славился своей первоклассной профессурой: Костомаров, Пыпин, Кавелин, Стасюлевич, Спасович — вот наставники, руководители тогдашней молодежи, а следовательно, и Ильи Чавчавадзе».

Впрочем, Илья Чавчавадзе всегда подчеркивал, что возникшие в России идеи и концепции следует переносить на грузинскую почву с большой осторожностью, взвешенностью: «У нашей страны иные боли, — писал он, — нас преследуют иные несчастья... Наш сегодняшний день требует и вопиет о совершенно другом... Это «другое» — восстановление утраченного нашего самосознания, укрепление его и защита от всевозможных бед, которые несомненно грядут, и даже сегодня мы не можем избежать их...»

Но как бы ни были заняты мысли и ум человека общественными делами, если ему двадцать лет и к тому же он поэт, в его сердце всегда отыщется уголок, принадлежащий только любви.

Как мы уже знаем, Илья простился со своим последним увлечением — Лизой Чавчавадзе стихотворением из Петербурга, и здесь, на берегах Невы, освободившимся уголком его

сердца завладела дочь генерала Чайковского, младшая сестра великого русского композитора. Два стихотворения Ильи Чавчавадзе, посвященные новой симпатии, отмечены ^{лишь} ее инициалами, и поэтому долгое время считалось, что их адресат Софья Чайковская. Однако на деле, как установил профессор Гурам Шарадзе, — это была не Софья, а Саша, Александра Чайковская, которая тепло принимала своего грузинского поклонника, но замуж вышла за другого, тем самым разбив сердце поэта.

Стихи, посвященные Александре Чайковской, датированы весной 1860 года. Несравнимо горьким оказалось для поэта лето того же года, когда здесь, в Петербурге, скончался его любимый младший брат Теймураз, незадолго до того зачисленный в Кадетский корпус.

«...За какие прегрешения Господь так безжалостно и немолимо карает нас, отравляя нам существование. Где-то теперь мой маленький Темури, дорогая тетушка! Я потерял навеки единственного своего брата, притом какого брата, несчастный, он больше не увидит вас...» — писал Илья Чавчавадзе.

Через год писатель возвратился в Грузию. Железная дорога в то время была проложена только между Петербургом и Москвой, и путешествие до Тбилиси занимало чуть больше месяца...

Уже три года, как журнал «Цискари», выпускаемый Иванэ Кереселидзе, печатал стихотворения и переводы Ильи Чавчавадзе, однако писатель чувствовал, что журнал этот, отстаивающий позиции «отцов», не разделял устремлений нового поколения, и, возможно, поэтому лучшая часть стихов, написанных им в Петербурге, осталась вне внимания «Цискари».

Зимой Илья послал в редакцию журнала произведение совершенно иного жанра — критическую статью «Несколько слов о переводе князем Ревазом Шалвовичем Эристави «Безумной» Козлова», которую сперва не хотел публиковать под своим именем... Однако статья за его подписью появилась в апрельском номере журнала, сразу же вызвав редкое по тем временам волнение страстей. Она послужила поводом для литературной борьбы между «отцами» и «детьми», навеки связав имя Ильи Чавчавадзе с обновлением грузинского литературного языка и грузинской литературы.

Мы так часто цитируем известный монолог писателя из «Записок проезжего», что, мне кажется, уже не замечаем тре-

петности чувства, с которым двадцатичетырехлетний юноша ожидал встречи с родиной, ибо воспринимаем Илью Чавчавадзе в исторической ретроспективе — уже возвеличенного и обожествленного. Но если забыть о ретроспективе и взглянуть на автора «Записок...» глазами современников, нас удивит не благоговение его перед родиной, а та уверенность в себе, с которой этот недоучившийся студент, автор нескольких стихов и одной статьи, произносит монолог духовного наставника нации.

Если у Грузии действительно есть высший покровитель, то именно он подсказал возвращавшемуся из Петербурга на родину юноше эти слова: «Как встретит меня моя страна и как встречу ее я, подумалось, что скажу нового моей стране и что скажет мне она? Кто знает, быть может, моя страна отвергнет меня, как пересаженного и возвращенного на чужой почве? А может, и не отвергнет, может, примет».

«...Я решил, что моя страна примет и даже прислушается ко мне, потому как я плоть и кровь ее; я сумею понять и слово ее и язык, ибо слово Отечества верный его сын слушает не только ушами, но и сердцем, которому понятно даже молчание; я сумею донести до моего Отечества и свое слово, потому что слово сына всегда понятно родителю».

В том же 1861 году, осенью, Илья Чавчавадзе, уже в стихотворении, заявит о своих убеждениях:

О перо мое, друг мой, — для дела живого,
Не для славы — мы служим, как прежде служили.
Смело скажем народу святое мы слово,
Чтобы недруги наши повержены были.

Если люди не поняли — Богу известно,
Что святы наши цели, сердец наших рвенья.
С юных лет за судьбу нашей Грузии честно
Мы вступили в борьбу, не боясь осужденья.

Обо мне говорят: обличая пороки,
Ненавидя, готов все предать он злословью.
О глупцы! Непонятен порыв вам высокий.
Ненавижу, но ненависть дышит любовью.

(Перевод В. С. Рождественского)

Родственная душа в лице Ольги Гурамишвили сразу поняла это.

Десятого апреля 1863 года к церкви Святой Троицы в Тбилиси подъехали две коляски. Священник Николоз Ардазиани был весьма удивлен тем, что жениха и невесту, представителей двух знатных семей — Чавчавадзе и Гурамишвили — сопровождали лишь два свидетеля, но по наитию понял — бракосочетание тайное, и когда счастливые, слегка растерянные молодые попрощались с ним, попросил в душе у Всевышнего благословения для этой пары, освященной светом редкой доброты и добродетели.

Тетя, воспитавшая Илью Чавчавадзе, благословляла его из Кварели:

«Счастье мое, сынок Илья!

Многажды целую тебя в твои красивые глаза и прошу у Господа счастья и наследников для вас с женой, еще раз поздравляю, сынок, дай Бог твоему браку счастья — это наше с вами желание. Прости, что не пишу тебе отдельно, все еще не могу. Излечить меня сейчас могут твои с женой письма и портреты.

Да хранит тебя Бог, Илья!

Твоя тетя

Макринэ Эристави».

Семейство Гурамишвили хранило молчание: владелец Сагурамо, надменный князь Тадеоз из-за стесненного положения семьи Чавчавадзе считал этот брак неравным и в душе опасался, что зять зарится на его владения. Старшая сестра Ольги — Екатерина — жена генерала Старосельского, чувствовала себя неловко, так как именно она выдала тайну Ольги, возможно, из страха перед мятежностью Ильи, чем весьма затруднила переписку и тайные встречи возлюбленных. Кстати, инициатором и переписки и этих встреч была увлеченная писателем юная Ольга.

Прошло время, и Тадеоз Гурамишвили оценил достоинства своего зятя, а Дмитрий Старосельский, в бытность свою начальником канцелярии наместника, помог Илье Чавчавадзе в основании «Общества по распространению грамотности среди грузин».

О самой Ольге биограф Ильи Чавчавадзе Григол Кипшидзе писал: «Она оказалась очень добрым человеком с мягким характером, она занималась благотворительностью, сочувствовала всему доброму, обожала своего именитого мужа и боготворила его талант».

Детей у Ильи и Ольги не было, и своим первенцем Илья Чавчавадзе порою в шутку, а порою всерьез называл журнал «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»), основанный им в том же 1863 году.

«Кто не помнит этот год (1863), когда Илья Чавчавадзе начал издавать «Сакартвелос моамбе», — писал Нико Николадзе. — Было время, когда наша жизнь меняла свое русло, устремляясь к новому... Все, что было в нас молодого, задорного, сочувствующего новым порядкам и новой жизни, тотчас же признало знамя прекрасного будущего, которое поднял Илья Чавчавадзе. Старые порядки, старое поколение нашли приют в «Цискари», и таким образом борьба, развернувшаяся между «Сакартвелос моамбе» и «Цискари», была отражением той самой борьбы, что кипела в те времена между старым и новым...»

Надо сказать, для получения разрешения на издание журнала Илья Чавчавадзе должен был обратиться к одному из предводителей лагеря «отцов» — Григолу Орбелиани, исполнявшему в то время обязанности наместника Кавказа. Орбелиани ходатайствовал в Петербурге и испросил-таки это разрешение.

И хотя «Сакартвелос моамбе» просуществовал всего лишь год, Илья Чавчавадзе мог утешать себя тем, что познакомил грузинскую общественность с новыми именами и новыми произведениями, а в своем программном стихотворении («Мое перо...»), в программной статье — «О «Сакартвелос моамбе», отрывках из поэм «Несколько картин или Случай из жизни разбойника» и «Видение» и, наконец, в опубликованном под псевдонимом Джимшеридзе рассказе «Человек ли он?» — поведал все, что хотел сказать в то время читателям.

Если даже сегодня поиски гена «Таткаридзе», разговоры о культе еды и самодовольстве вызывают откровенное раздражение, то, представьте, какой смелостью должен был обладать двадцатипятилетний писатель, чтобы, за исключением какого-то десятка единомышленников, публично высечь все свое окружение и ткнуть его носом в ту грязную жижу, в которой сидели разжиревшие, похожие на жаб луарсабы и дареджаны, в очередной раз втолковывая им: «Удовлетворенность — смертельная для человека болезнь!»

Последний, двенадцатый номер «Сакартвелос моамбе» вышел в январе 1864-го, а весной того же года Илья Чавчавадзе стал возмутителем спокойствия имеретинской знати — в преддверии будущей реформы командированный к кутаис-

скому генерал-губернатору в качестве чиновника по особым поручениям, он должен был выяснить взаимоотношения между крестьянами и землевладельцами.

Следующая должность Ильи — мировой посредник в Душетском округе. Именно здесь, в Душети, провел он почти десять лет сперва посредником, затем мировым судьей, и впечатления той поры — частые поездки в горные села служили как бы противовесом тому бремени, которым несомненно тяготился человек, подобный Илье Чавчавадзе, вынужденный находиться на государственной службе.

Когда Ольги не бывало в Душети, писатель особенно тосковал, и именно в такие минуты он благодарил Бога за то, что его ремесло — ремесло писателя — делало одиночество не только переносимым, но даже подразумевало и эту боль, и это ощущение заброшенности... Ведь истинный художник никогда не остается абсолютно один, поскольку с ним всегда — невидимый и вечный собеседник...

Первые впечатления «примирительной деятельности» Ильи Чавчавадзе отражены в его «Сценах» в образе бессмертного Глахи Чриашвили (полное название — «Сцены из времен освобождения крестьян»).

В Душети написано и известное стихотворение Ильи Чавчавадзе «23 мая 1871 года» (в русском переводе «День падения коммуны»), приведшие в ярость лагерь «отцов» «Загадки» и «Еще загадки», где единственным человеком из знаменитых в то время личностей (Григол Орбелиани, Платон Иоселиани, Михаил Туманишвили), которому «не безразлична судьба своей страны», — назывался Дмитрий Кипиани.

Плечом к плечу с Ильей Чавчавадзе с момента начала борьбы «отцов» и «детей» стоял Акакий Церетели. Особенно ценил Илья Чавчавадзе опубликованную в «Цискари» статью, в которой Церетели со щедростью баловня судьбы возводил Илью на Олимп грузинской поэзии: «Николоз Бараташвили и Илья Чавчавадзе оба достойны трона, оба имеют одинаковые заслуги перед нашей литературой, оба одинаково незабываемы, неразрывно связаны друг с другом и понять одного без другого сложно».

Сам Илья несомненно чувствовал, что юношеский романтизм и в его жизни, и в его поэзии постепенно уступал место беспощадному реализму, что его амплуа на общественной арене — не плачущий возлюбленный, а патетический герой. Подтверждение тому — тонкая тетрадь его лирических стихов и вполне определенный пафос большинства остальных

его стихотворений: последнее лирическое послание ^{Илья} написал в возрасте двадцати трех лет и после этого ^{лишь од-}нажды, достигнув уже сорока, позабыв об обычной своей ^{сдер-}жанности, доверил стиху свою тайну:

Я раб ее покорный и преданный, —
Но делит с другим она наслаждения,
Другому все тайны ею поведаны...
Будь проклят ты, день моего рождения!

(«Забыты мечты и надежды ранние...»
перевод В. Шефнера)

У Ильи Чавчавадзе есть одно весьма интересное определение поэзии: «Поэзия — дар, талант, который дается лишь Божьим избранникам. Дар, но вместе с тем и тяжелая ноша, ибо дело поэзии — залечивать раны и вдыхать жизнь в людей».

Теперь же, вернувшись на миг в Душети, мы увидим Илью Чавчавадзе с журналом «Кребули» («Сборник») в руках. Писателю нравился этот журнал — он продолжал традиции «Сакартвелос моамбе», и его редакторы — сначала Нико Николадзе, а затем Георгий Церетели проявляли особенное уважение к Илье Чавчавадзе: его стихи, поэмы, переводы, большая часть собранных им образцов фольклора были напечатаны именно в «Кребули».

Из стихотворений, написанных в Душети, в журнале «Кребули» было опубликовано одно из самых едких — «Счастливы народ».

Хоть планету обойдешь —
Столь счастливых не найдешь!
Каждый золотце и сказка,
Кляп во рту,
В глазах замазка,
Всяк горазд, урвав кусок,
Спрятать голову в песок.
Стар и млад умело взнуздан,
Но при этом необуздан,
А еще и стар и млад «сострадает» всем подряд.
Все умны, кого ни спросишь,
И куда ты взгляд ни бросишь —
Все проныры, всюду ложь...

Хоть планету обойдешь —
Столь счастливых не найдешь.

Пыльным маревом покрыто,
У разбитого корыта племя лодырей стоит,
Без гонца друг с другом ссорясь,
Потеряв и стыд и совесть,
Но не волчий аппетит;
Презирающее ближних
И не терпящее лишних,
Говорит друг другу «ты»,
Но не жди от них подмоги —
Здесь убогого убогий
Топит в ложечке воды,
С посторонними трусливо,
На своих попрет спесиво,
Под лопатку всадит нож...

Хоть планету обойдешь —
Столь счастливых не найдешь!

(Перевод В. С а р и ш в и л и)

Спустя два года после написания этого стихотворения, в 1873 году, Илья распрощался с Душети, с государственной службой и вернулся в Тбилиси. Следующий период его биографии связан с основанием Земельного банка и журнала «Иверия».

Если проследить жизненный путь Ильи Чавчавадзе в целом, можно увидеть, что все сферы его деятельности проникнуты одним осознанным еще в юности стремлением — разбудить соплеменника, смыть с него грязь, приставшую во владениях Таткаридзе, заставить его взглянуть правде в глаза и указать путь к спасению от беспощадного приговора «Счастливого народа».

Чем крупнее историческая фигура, тем больший интерес вызывают ее личностные свойства, привычки и наклонности. Мы знаем об Илье Чавчавадзе многое, но в то же время весьма нелегко представить себе его реальный образ: «У меня жуткий характер, — сказал он как-то, — как бы тяжело не было у меня на сердце, я никому этого не открою. Бывает, я неделями ношу в себе свою боль, становлюсь молчалив и нелюдим, никто не знает, что меня беспокоит, что со мной происходит; и я не люблю, когда меня об этом спрашивают,

даже будь это мои близкие. Уживаться с человеком подобного характера, наверное, очень тяжело».

Яков Мансвешташвили вспоминал: «От многих я слышал, что Илья суровый, жесткий и подчас грубый человек, не зря ведь говорят, что «Отарова вдова» и есть Илья, только переодетый в женское платье. Насколько мне известно, это не совсем так. Он был скорее замкнутым человеком, твердым, негибким, немного упрямым, но уж никак не жестким. Редко кому он раскрывал свое сердце, а уж если раскрывал, то все равно держал дистанцию так, что никто не посмел бы фамильярничать с ним, а если кто-то и смел, то ему дорого обходилась его наглость»...

Илья Чавчавадзе был незыблем, как гранитная скала, поколебать его было невозможно. Ни блеск стали, ни взмах кинжала, ни дуло пистолета, приставленное к груди, не смогли бы сломить его или заставить отказаться от своих убеждений. Именно эта твердость, непримиримость, упрямство становились причиной того, что писатель неоднократно оказывался у барьера, не раз его жизнь висела на волоске...

Здесь же замечу, что последняя дуэль Ильи Чавчавадзе должна была состояться в 1905 году, за два года до его смерти, когда поэту было уже 68 лет, однако противник принес свои извинения, и дуэль не состоялась. Так же, без кровопролития, согласно традиции того времени, закончились и остальные шесть дуэлей в жизни писателя.

В этих же воспоминаниях дается и описание внешности Ильи Чавчавадзе: «Илья был низкого роста, крепко сбитый, в меру упитанный с короткой шеей, одним словом, «круглый как мяч», по меткой характеристике Гр. Орбелиани. Но у этого тела, которое никак не назовешь образцом красоты, была голова, достойная резца Фидия. Представьте себе высокий, широкий, ровный лоб, прямой, словно отлитый по заказу, скульптурный нос с круглыми подвижными ноздрями, крепко сжатые губы... Округленный, чуть вытянутый вперед подбородок и глаза, умные, выразительные, глаза Ильи Чавчавадзе, то мягкие, добрые, когда взгляд их был дружелюбным; то отсутствующие, неземные, когда они погружались в творческие просторы; то грозные, метаящие искры, когда он сражался с врагами. Представьте себе все это, и перед вами встанет живой Илья».

Ознакомившись с этим словесным портретом, нетрудно вообразить, с каким внутренним достоинством читает уже поседевший Илья написанные им в юности строки:

Пусть поэт — посланец неба,
Но народ растит поэта.
Я веду беседу с Богом,
Чтоб вести отчизну к свету!..



(перевод В. Шефнера)

Однако поэту все реже удается говорить с Богом на языке поэзии. После возвращения в Тбилиси большую часть своей энергии, времени и внимания ему приходится уделять управлению Земельным банком и журналом «Иверия».

Вот так — «чтоб вести отчизну к свету» — необходимо было тридцать лет пожертвовать Земельному банку, чтобы грузинская беспечность не довела до абсолютного обнищания лучшую часть своего народа, а вместо благодарности — недовольство и попреки за «приправленное перцем добро», охлаждение со стороны старых сотрудников и, что более всего обидно, вражда с Иванэ Мачабели, с которым Илью связывали лелеемые в памяти годы совместной работы над переводом «Короля Лира» Шекспира в Петербурге и соредакторство в «Иверии», тем самым Иванэ Мачабели, хулу на которого он никому не прощал.

Говоря об «Иверии», сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один журнал или газета XIX века не определяли в такой степени течение общественной жизни, как издаваемый Ильей Чавчавадзе печатный орган. (Известно, что «Иверия» была основана в 1877 году как газета, затем была преобразована в журнал, а в 1902 году, когда поэт ушел с редакторского поста, — вновь стала газетой). Чего стоят хотя бы статьи Ильи — «Турецкая Грузия», «Письма о грузинской литературе XIX в.», «Вопль камней», «Что вам сказать, чем порадовать?», «Девятнадцатый век» и, как продолжение этого блестящего ряда, серия очерков по вопросам истории, права, экономики, политики, свидетельствующих о том, что ни одна сфера тогдашней жизни не укрылась от острого глаза и ума редактора «Иверии».

Художественные творения поэта «Отшельник» и «Дмитрий Самопожертвователь», «Отарова вдова» и «У виселицы» выглядели в той же «Иверии» как редкие сиротливые жемчужины.

И какую же благодарность получил за свой труд такой редактор и такой автор от коллег по «Иверии»?

В апреле 1905 г. «Иверия» оперативно перепечатала из

«Путешественника», журнала социал-демократов, мерзкую, клеветническую статью о якобы притесняемых Ильей Чавчавадзе крестьянах, сопроводив ее лицемерной редакционной припиской: «Неужели у автора «Рассказа нищего» действительно такие отношения с крестьянами? Мы не хотим этому верить» — и так далее, а ответ Ильи Чавчавадзе — шедевр его публицистики «Неужели?» — так и не опубликовали! (Статья была опубликована в качестве приложения к газете!).

Тогдашний редактор «Иверии», Филипп Гогичаишвили, позднее пытался оправдаться — «многие сотрудники редакции грозились устроить забастовку, если в газете будет напечатан ответ Ильи...»

Позабудем ненадолго об этих неблагодарных, готовых бастовать сотрудниках газеты и обратимся к рассказу Ильи Чавчавадзе «У виселицы», опубликованному на страницах «Иверии».

Помните, как пришедший из любопытства на место казни арабщик с библейским именем Петр не узнает своего юного спутника. Более того, — он, возможно, единственный из всей этой толпы, воспринимает ужасный ритуал казни как увеселительное зрелище и представление: эшафот для него — сцена, а приговоренная к смерти жертва, палач и священник — актеры.

В финале рассказа, когда из письма младшего брата повешенного разбойника Петр узнает правду, он теряется от предъявленного ему обвинения — «Разве не ты довел моего брата до виселицы?» — и изумленный вопрошает — «Причем тут я?».

Именно здесь ставит писатель точку, оставляя нас вместе со своим героем перед этим вечным вопросом: а ведь, действительно, причем мы, если весь мир сошел с ума, если убийство, воровство и разбой стали почти нормой, или, может, есть доля и нашей вины в происходящем?! И наконец — как нам жить, что предпринять, чтобы, убедительно ответив на этот вопрос, запрячь свою арбу и продолжить путь...

В той же «Иверии» было опубликовано стихотворение Ильи Чавчавадзе «Славная родина, что ты сегодня грустна?..», стихотворение, которое вот уже целый век читается и поется с особенным пафосом в моменты, когда грузинский народ объединяется верой в грядущую свободу, и приобретает звучание ритуального гимна, как только это единение рушится, а поэзию свободы попирает проза повседневности...

Еще одно известное замечательное стихотворение Ильи

Чавчавадзе той поры — «Базалетское озеро» — было опубликовано позже, в 1890 году, но уже в журнале «Джеджили». Илье Чавчавадзе к тому времени уже 53 года, не такой уж старый, но с подорванным здоровьем — писатель не щадил себя — он жалуется на печень, диабет, сердечную недостаточность...

Несмотря на это, он щедрый хозяин, обычно вместе с гостями веселящийся от души и не мирящийся с запретами врачей...

Особенно любил писатель приглашать гостей в Сагурамо. Каждый год, 20 июля, он отмечал свои именины, и каждый раз гостей было не счесть...

С редкой теплотой вспоминали Сагурамо иностранные друзья Ильи Чавчавадзе — Артур Лейст, брат и сестра Уордропы... Просматривая биографическую хронику писателя, можно заметить, что мало кто из грузинских деятелей того времени или почетных гостей Грузии не удостоивался чести быть приглашенным в Сагурамо.

Это объясняется не только особым гостеприимством Ильи Чавчавадзе — он находился в эпицентре общественной жизни, и его дом, даже помимо его воли, все равно притягивал к себе людей, связанных с ним общими делами, интересами и увлечениями.

Масштабы деятельности Ильи Чавчавадзе и сегодня поражают нас. Параллельно с банком и «Иверией» он руководит созданным по его же инициативе «Обществом по распространению грамотности среди грузин» и грузинским драматическим обществом — несомненно являясь идеальной кандидатурой: он — автор популярных сцен, исполнитель роли Кента в переведенном им же «Короле Лире» и даже режиссер в грузинской драматической труппе.

Между прочим, Илья Чавчавадзе был прекрасным декламатором и на литературных вечерах, кроме своих произведений, читал обычно стихи Григола Орбелиани, Николоза Бараташвили, отрывки из «Витязя в тигровой шкуре».

Подобные литературные вечера проводились в то время большей частью в салоне известного мецената Давида Сараджишвили. Корреспондент газеты «Дрозба» так описывал один из вечеров, устроенных в доме Сараджишвили: «Вчера, 8 февраля (1883 г. — З. А.) в одном частном доме, по приглашению хозяина дома, собралось до двадцати почитателей и любителей грузинской литературы, для которых князь И. Г. Чавчавадзе прочел свою новую поэму «Отшельник». Новое

произведение писателя произвело на всех присутствующих необыкновенное впечатление. Мы с удовольствием убедились, что автор «Видения» и «Нескольких картин или Случаев из жизни разбойника», который в эти последние годы весьма редко общается с музой, не утерятил ни былого таланта, ни былого мастерства, ни дара публичной декламации; мы убедились, что князь И. Чавчавадзе не потерян для нашей поэзии и в будущем нас ждут подобные же произведения...»

К сожалению, «Отшельник» оказался последней поэмой, а в дальнейшие тридцать пять лет жизни лирическая тетрадь его стихов пополнилась всего семью стихотворениями, из которых лишь «Базалетское озеро», как надежда на будущее, осталось в памяти последующих поколений и еще вот эти многозначительные строки:

Ты прекрасна, родная моя страна,
Лучше края в мире не знаю я, —
Но чем больше красу твою познаю,
Тем сильнее душой страдаю я...

(перевод В. Шефнера)

К сожалению, это — не метафора, и больному сердцу Ильи не могут помочь ни тбилисские врачи, ни профессор Киевского университета Вагнер, ни профессор Лейден, которого Илья и Ольга Чавчавадзе навестили в Берлине летом 1903 года.

Здесь же следует отметить, что все передвижения Ильи Чавчавадзе и его публичные выступления с весны 1884 г. находятся под неусыпным тайным надзором полиции, а тбилисский полицмейстер с чиновнической пунктуальностью извещает губернатора города о каждом шаге писателя. Слежка прекратилась лишь в 1906 году, когда Илья Чавчавадзе был избран членом имперского Государственного совета.

Примечательно, что свое первое выступление в Государственном совете (предположительно — 17 апреля 1907 года) Илья посвятил вопросу отмены смертного приговора (и вновь приходит на память его рассказ «У виселицы»). Аргументы поэта предусматривали не только христианское сострадание, но и то, что жестокость наказания влекла за собой всеобщее ужесточение нравов, и этот заколдованный круг преступности мог оказаться губительным для самого общества.

Невольно возникает мысль, что великий грузинский гуманист, пытавшийся призвать власти империи к состраданию, в то же время спасал жизни своим будущим убийцам. Символично, что уже после убийства Ильи Чавчавадзе княгиня Ольга ходатайствовала перед генерал-губернатором Тбилиси не вешать преступников: «Это страшное наказание разрушит ту любовь, ту вековую заповедь Христа, которыми жил мой покойный муж...» — писала она.

Этот гуманный жест вдовы писателя вызвал широкий общественный отклик, и самый достопримечательный из них принадлежал Льву Толстому.

Не придерживаясь календарной точности, можно сказать, что двадцатый век, со всем его семидесятилетним кошмаром, начался для Грузии 30 августа 1907 года — в день убийства в Цицамури Ильи Чавчавадзе.

С того дня прошло почти целое столетие, но всякий раз, вспоминая его светлый образ, вместе с почтением и трепетом перед ним мы ощущаем чувство исторической вины и острую незатихающую боль.



«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»—

40 ЛЕТ

Рождение нашего журнала совпало с началом «оттепели», т. е. с недолго длившимся этапом либерализации тоталитарного режима, когда под флагом критики культа личности Сталина проходила реабилитация миллионов жертв репрессий предшествующих лет. По соизволению свыше и грузинская литература вновь «обрела» дотоле «табуированные» имена — Михаила Джавахишвили, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили... И лишь имя Григола Робакидзе — мэтра грузинских символистов, оставалось запретным вплоть до начала т. н. «перестройки».

Сегодня уже трудно понять, почему столь прогрессивное и гуманное мероприятие режима проходило, в целом, скромно, тихо, а в некоторых случаях, чуть ли не полулегально. В Грузии год спустя после марта 1956 года особенно трудно было говорить в полный голос о трагедии грузинской интеллигенции 30—50 годов. Первый редактор нашего журнала Константин Лордкипанидзе (с 1957 по 1962), приняв решение знакомить русскоязычного читателя с произведениями репрессированных грузинских писателей, по многим причинам был скуп на комментарии, дипломатично предоставляя слово литературным авторитетам из Москвы. Так, например, тема Паоло Яшвили, Михаила Джавахишвили и Тициана Табидзе впервые прозвучала на страницах нашего журнала в стихотворении Евг. Евтушенко «Следы», где есть такие строки: «...неправда правду не обманет ни действием, ни суетолокой фраз...» Однако нельзя обойти вниманием два выступления на эту тему: статью тогда еще молодого критика Гурама Гвердцители «Поэзия Тициана Табидзе», (1958) и развернутое эссе Георгия Маргвелашвили «Жизнь, история, литература» (1961). Вместе с тем, первый редактор «Литературной Грузии» нашел смелость опубликовать большую подборку пейзажной лирики Бориса

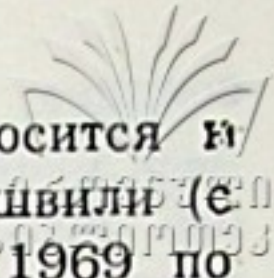
Пастернака, исключенного из Союза писателей за роман «Доктор Живаго» (1958).

Не обходилось без оговорок и частичных умолчаний, но главное: началась плодотворная и системная работа над переводами прозы Михаила Джавахишвили, практически неизвестной тогда русскому читателю. Первые его рассказы «Лесной человек» и «Чанчура» были опубликованы уже в 1958 году. Затем в переводе Э. Ананишвили увидели свет три его романа: «Судьба женщины» (1961), «Квачи Квачантирадзе» (1981) и «Эка» (1982). Эти образцы прозы заполнили один из очень важных пробелов в истории грузинского реализма на новом, современном этапе его развития. Второй такой пробел, как и было сказано, удалось заполнить лишь в период «перестройки», когда, наконец, можно было представить русскоязычному читателю (а, частично, и грузинскому) творчество выдающегося грузинского прозаика Григола Робакидзе. Произошло это в 1988 году после публикации фрагмента из его романа «Убиенная душа» в переводе с немецкого С. Окропиридзе. Затем последовали повесть «Енгед» (1989) и романы «Хранители Грааля» (1990) и «Змеиная рубашка» (1991). Благодаря этим публикациям нашему журналу удалось наконец воссоздать полную картину развития грузинской прозы XX века.

С 1966 года в «Литературной Грузии» началась публикация писем Бориса Пастернака к грузинским друзьям, а также ряда статей инициатора этой публикации Георгия Маргвелашвили о поэзии Паоло Яшвили и Тициана Табидзе, семидесятилетие которого было торжественно отмечено в нескольких номерах 1968 года.

Примат национальной культуры стал определяющим в практической работе нашего редакционного коллектива. Мы оказались не русским республиканским журналом, а именно, и прежде всего, журналом грузинским, выходящим на русском языке. Разумеется, двери редакции для литераторов, пишущих на русском языке, никогда не были у нас закрыты. На наших страницах дебютировали Булат Окуджава и Фазиль Искандер, сложились как авторы Эммануил Фейгин, Михаил Лохвицкий, Александр Эбаноидзе, Борис Андроникашвили, Леван Челидзе, поэты Александр Цыбулевский и Глан Онанян. Список этот можно и продолжить...

Сегодня, отмечая свое сорокалетие, мы не без гордости можем заявить, что, не будучи русским журналом, разделяли нелегкую участь русской литературы тех лет, поддерживали, как могли, опальных авторов, подозреваемых литературными



чиновниками в диссидентстве. Это прежде всего относится к отделу поэзии периода редакторства Михаила Мревлишвили (с 1962 по 1968) и особенно Георгия Цицишвили (с 1969 по 1977). Именно в эти годы постепенно ужесточались будни хрущевской «оттепели», началась травля А. И. Солженицына, затевались процессы над писателями (дело И. Бродского, А. Синявского и Ю. Даниэля). На таком фоне «Литературная Грузия» систематически (из номера в номер) печатала русскую «возвращенческую» поэзию (О. Мандельштам, Б. Лившиц, М. Цветаева), новые стихи Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко, Александра Межирова и Павла Антокольского, песни Булата Окуджавы, а с 1970 г. критик Георгий Маргвелашвили стал готовить ежегодную подборку «Свидетельствует вещий знак», превратившуюся в специальный раздел журнала, где, наряду с признанными русскими поэтами, печатались дебюты талантливой поэтической молодежи (Вл. Леонович, Марина Кудимова, Ян Гольцман и др.).

Термин «шестидесятники», вошедший в историю новейшей российской словесности, как таковой не укоренился в грузинской литературной критике. Возможно потому, что так уже обозначен славный этап в развитии грузинской литературы второй половины XIX века, связанный со становлением эстетики критического реализма и началом революционно-демократического и национально-освободительного движения. Однако веяния и настрои 60-х годов были в какой-то мере общими для национальных литератур тогдашнего Советского Союза. В прозе на первый план вышли темы, связанные с деревней, с истоками и почвой, с национальным своеобразием; шел поиск героя — колоритного, обособленного от т. н. «коллектива», максимально индивидуализированного. В грузинскую литературу входило новое поколение прозаиков. Отметим некоторые дебюты на страницах нашего журнала в переводе на русский язык: Отар Иоселиани («Домик на косогоре», 1958), Тамаз Чиладзе («Прогулка на пони», 1962), Резо Чеишвили («История болезни Бичико», 1962), Гурам Рчеулишвили («Старая учительница», 1962), Арчил Сулакаури («Если искушают тебя...», 1963), Чабуа Амирэджиби («Ч. Лаба», 1964) и др.

Именно в шестидесятые годы наш журнал познакомил русскоязычного читателя с колоритным рассказчиком Ревазом Инанишвили (дебют — «Море», 1962). С тех пор вот уже тридцать лет, как его рассказы украшают страницы нашего журнала. «Литературная Грузия» обозначила и некоторые крупные достижения в творчестве Нодара Думбадзе («Я вижу

солнце», 1963; «Я, бабушка, Илико и Илларион», 1964; «Белые флаги», 1974 и множество рассказов в интерпретации его постоянного переводчика З. Ахвледиани). Творчество этих авторов, в той или иной степени, развивает и углубляет главные качества, присущие писателям-шестидесятникам: любовь и доверие к человеку, стремление к нравственной чистоте и бескорыстию, призыв к дружбе между людьми и народами. И все это локализовано именно на грузинской почве, увидено сквозь призму грузинского национального характера.

В грузинскую поэзию 60-х годов, наряду с продолжающимися еще творить патриархами (Георгий Леонидзе, Симон Чиковани, Ираклий Абашидзе) и с поэтами, завоевавшими широкую известность в послевоенные годы (Анна Каландадзе, Мурман Лебанидзе, Михаил Квливидзе), вливаются новые голоса: Мухран Мачавариани, Арчил Сулакаури, Тамаз Чиладзе, Отар Чиладзе, Шота Нишнианидзе, Морис Поцхишвили, Тариэл Чантурия, Эмзар Квитаишвили, Гиви Гегечкори и др. Наш журнал часто публикует их стихи, как правило, в ярких русских переводах Евг. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Ю. Мориц, Г. Плисецкого, Ю. Ряшенцева, М. Синельникова, Ст. Куняева и других талантливых русских поэтов. В стихах грузинских поэтов тех лет еще более отчетливо, чем в прозе, слышен вызов лицемерной двусмысленности режима; лиризм здесь зачастую сочетается с сатирическим плакатом, а доверительность тона с иронической окраской.

Отметим тут же и две первые попытки грузинских критиков осветить на страницах нашего журнала этот перелом на примере прозы: Реваз Тварадзе «О некоторых тенденциях в грузинской молодежной прозе» (1961) и Коба Имедашвили «Первые романы молодых» (1962).

Иллюзии, связанные с хрущевской «оттепелью», быстро рассеялись. Незадачливый реформатор был смещен. Началось то, что мы сегодня называем «застоем», т. е. стагнацией уже нежизнеспособного режима, погрязшего в коррупции, карьеризме и цинизме. «Социалистическая» экономика доживала свои последние дни, соцлагерь трещал по швам, особенно после интервенции в Чехословакию (1968). В республиках нарастали сепаратистские умонастроения. Разумеется, все это касалось и Грузии, где уже в семидесятые годы с особой силой возродилось движение, завещанное еще шестидесятниками прошлого века — вершить ГРУЗИНСКОЕ ДЕЛО. В недрах нашей интеллигенции развернулась большая и всесторонняя культурная работа, ставившая своей целью возрождение нацио-

нального самосознания. И наш журнал старался не отставать, систематически и оперативно освещая новые факты, явления, тенденции.

Отмеченный переход от иллюзорного лиризма и великодушного оптимизма к напряженному драматизму первых лет застоя совпал в нашем журнале с редакторством Георгия Цицишвили. В эти годы журнал достаточно резко повернулся лицом к общекультуроведческой и исторической тематике, сочетая официозные публицистические и литературно-критические материалы с серьезными и углубленными раздумьями над духовными и историческими судьбами Грузии. Более широко и основательно мы стали знакомить русскоязычного читателя с грузинской классической литературой (новые переводы А. Тарковского из лирики Важа Пшавела (1971) и, в целом, с литературным процессом прошлых лет (Иосиф Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси» в переводе Нодара Тархнишвили, где образцы творчества поэтов-ашугов Иэтима Гурджи, Антона Ганджискарели и др. впервые были переложены на русский Вл. Леоновичем (1970).

Окончательно и радикально меняется направление журнала под редакторством Гурама Асатиани (с 1977 по 1982). Главным критерием отбора материалов становится КУЛЬТУРА. Начиная с обложки (репродукции произведений грузинского зодчества), центральное место в журнале занимает проблематика, связанная с постижением исторической психологии грузин, с поиском своеобразной формулы «грузинского духа». В этом контексте особенно значимой видится сегодня публикация эссе самого Гурама Асатиани «У истоков», в котором основные черты грузинского национального характера рассматривались сквозь призму нашего эстетического мироощущения. Добавим к этому, что с 1978 г. «Литературная Грузия» приобретает «карманный» формат и тираж ее достигает своего пика (10.000 экз.).

Внешним поводом подобного поворота послужило празднование 1500-летия грузинской литературы, более конкретно, первого ее литературного памятника «Мученичества Шушаник» (текст в переводе академика Корнелия Кекелидзе был опубликован в 1978 г.). Редакция тогда торжественно обещала систематически печатать наиболее значительные произведения прошлого. Кое-что из этих обещаний осуществилось: Давид Гурамишвили в пер. М. Кудимовой, Илья Чавчавадзе в пер. М. Сичельникова, Григол Орбелиани в пер. А. Тарковского.

а также несколько подборок из грузинского фольклора в пер. Н. Гребнева и Я. Гольцмана (1978—1979).

В 70—80-е годы в текущей грузинской литературе происходят разительные перемены. Особенно заметны они в прозе. На русском языке в «Литературной Грузии» дебютируют: Отар Чхеидзе («Подъем и спуск», 1970); Гурам Панджикидзе («Снежный день», 1973); Отар Чиладзе (роман «Шел человек по дороге», 1978); Тамаз Бибилури (рассказы, 1978); Гурам Дочанашвили («Иоганн Себастьян Бах», 1980); Наира Гелашвили («Окна», 1984) и др.

В прозе этих лет четко проявились три тенденции как скрепляющие, так и обогащающие и дополняющие реалистические методы изображения художественной действительности: острая публицистическая манера злободневного повествования Гурама Панджикидзе (роман «Год активного солнца», 1979 и многие рассказы, публиковавшиеся с 1980 по 1985 гг.), как развитие общих традиций грузинской реалистической прозы; своеобразный «магический» реализм Гурама Дочанашвили («Большой аметист», 1981; повесть «Ватер/по/лоо», 1984), где карнавальное изображение жизни сочетается с фантастикой и символикой; и, наконец, проза Отара Чиладзе (в нашем журнале представленная романами «Шел человек по дороге», 1978 и «Мартовский петух», 1990), где заметно тяготение к западноевропейскому авангарду с его мифотворческими мотивами. Многие из заявленного в те годы этими писателями продолжается в грузинской прозе и в наши дни.

Поэзия 70—80 гг. утратила лиризм и пафос 60-х. Не удивительно, что драматизм времени подогревал интерес русскоязычного читателя к творчеству таких интересных и ищущих поэтов как Бесик Харанаули и Лия Стуруа.

Отдавая должное отделу поэзии журнала тех лет, который охотно публиковал поэтическую молодежь, отметим, вместе с тем, недостаточно высокий критерий отбора. Правда, были здесь и объективные издержки, как, например, повальное увлечение верлибром без правильного понимания сути этой системы организации стиха.

Как известно, Грузия — страна многонациональная и не только по составу своего населения, но и с точки зрения административного деления. В автономиях имелись свои писательские организации, однако печатных органов на русском языке у них не было; не было такого органа и у национальных секций в самом Союзе писателей Грузии. И здесь пропагандистом выступал наш журнал, из номера в номер на протяжении со-

рока лет отмечая все более или менее яркое, значительное или просто интересное в творчестве писателей, пишущих на языках этнических меньшинств. Взяв старт на страницах «Литературной Грузии», многие из них получили широкое признание. И мы гордимся этим.

В условиях идеологического надзора за литературой особенно трудно приходилось литературной критике, в обязанности которой входило утверждать метод социалистического реализма и бороться с «чуждыми» буржуазными веяниями и тенденциями. И это на фоне весьма динамического развития грузинской литературы, когда так важно было поддерживать талантливые поиски утверждающих себя художественных индивидуальностей, как правило, ищущих выхода вне догматичности партийных норм и установок. Без издержек тут, конечно, не обошлось: время от времени журнал печатал водянистые обзоры разных там «достижений», «рассуждения», связанные с надуманными схемами и псевдопроблемами. И тем не менее, на страницах нашего журнала сложился талантливый критический коллектив тонких ценителей художественного слова. Отмечая свое сорокалетие, вспомним добрым словом прежде всего тех из них, которых сегодня с нами уже нет — Гурама Асатиани, Георгия Маргвелашвили, Гурама Канкава, Тенгиза Буачидзе, Отия Пачкория.

«Литературная Грузия» — в основе своей журнал переводной, следовательно, большое внимание всегда уделялось и продолжает уделяться всему комплексу переводческих проблем. Под этим углом журнал провел немало дискуссий, теоретических и практических обсуждений с участием критиков, переводчиков, редакторов и даже ученых. Особенно много писалось о переводах поэтических, ибо в этой области уже имелась достаточно прочная традиция, заложенная еще Бальмонтом, Пастернаком и Заболоцким и продолженная лучшими русскими поэтами разных поколений. Воистину, блистательна русская поэтическая переводческая школа (или даже школы), в том числе и с грузинского! Что же касается нашего журнала, то за сорок лет вокруг него окреп талантливый коллектив переводчиков прозы: Э. Ананишвили, А. Эбаноидзе, З. Ахвледиани, В. Зинина, А. Беставашвили, К. Коринтэли, Л. Татишвили и др. Многого предстоит сделать нашему журналу и сегодня, чтобы сохранить и умножить эти плодотворные традиции.

После редакторства Гурама Асатиани некоторое время (с 1982 по 1986) журнал возглавлял Тенгиз Буачидзе, известный

филолог-руссист, писатель и общественный деятель. Страна вступала в смутную полосу своей истории: началось движение по заполнению т. н. «белых пятен» в многострадальной отечественной истории. Наш журнал включился в этот процесс, печатая на своих страницах поэзию грузинских символистов, стихи Терентия Гранели. На повестке дня стояла «реабилитация» творчества Григола Робакидзе, однако из-за вздорного обвинения в нарушении этики межнациональных отношений (кто-кто, а Тенгиз Буачидзе эту этику оберегал и в жизни и в литературе) редактор был снят с должности.

После апрельской трагедии 1989 г. идеологические органы фактически перестали вмешиваться в литературную и художественную жизнь.

В годы политической лихорадки, вызванной стихией и анархией на фоне развала империи, наш журнал под редакторством Романа Миминошвили (с 1986 по 1996) старался занимать как можно более реалистическую и конструктивную позицию, а времена наступали тяжелые и не только в политическом, но и в сугубо материальном плане. Экономика страны буквально на наших глазах разваливалась, опустошалась казна, с каждым кварталом финансирование журнала сокращалось. Уже в 1993 году нарушилась периодичность выхода, а за последние два года мы из ежемесячника превратились в «ежегодник»...

Но мы выжили, и отмечая сегодня сорокалетие с оптимизмом смотрим в будущее, ибо дождались самого высокого блага, которым Господь одарил творческую личность — Свободы.



НАШ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ

За сорок лет существования «Литературной Грузии» в журнале сменилось шесть главных редакторов. (Нынешний наш главный — седьмой). Каждый из них отдавал журналу свои знания и опыт, частицу своей души. Сегодня мы вспоминаем тех, кто уже ушел от нас, и беседуем с теми, кто с нами.



Для меня совершенно очевидно — грузинскую литературу двадцатого столетия невозможно представить без имени и творчества Константина Лордкипанидзе. Другое дело, как его оценивали в прошлом, как оценивают ныне и как будут оценивать в будущем. Так же, не нарушая цельности картины, нельзя представить себе литературную и общественную жизнь Грузии этого века без Константина Лордкипанидзе, ибо жизнь его была чрезвычайно активна, а сила личностного влияния значительна.

В обоих случаях — и в творчестве, и в жизни — его судьба была отмечена трагичностью. Прости Господи, порой мне кажется, хорошо, что он не стал свидетелем того коренного разворота страны, а вместе с ней и литературы, к новому, реальному и поистине нацеленному в будущее пути, очевидцами которого мы являемся.

Строгая проверка временем ждет всех и каждого, в осо-

бенности писателя и художника. К числу безусловно признанных человечеством истин относится и эта, гласящая, что время — единственный беспристрастный и справедливый судья.

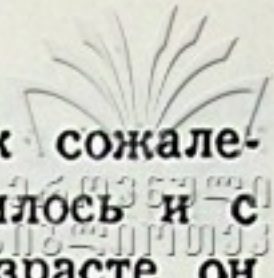
Константину Лордкипанидзе как писателю и общественному деятелю время сразу же устроило испытание. Вообще этот процесс — испытание временем — в отличие от студенческого экзамена длится довольно долго. И сегодня с уверенностью можно сказать лишь то, что из-за внутренней противоречивости художественное мышление и общественная деятельность Константина Лордкипанидзе не поддаются однозначным оценкам. Я хочу поделиться своим видением и отношением к феномену Константина Лордкипанидзе, который был одновременно и типичным (этот термин к лицу классику соцреализма), и своеобразно-неповторимым представителем советской литературы. Это второе качество приобретено благодаря одаренности и твердому характеру.

«Всю жизнь я ощущал себя находящимся в окопе солдатом. Времени не было оглянуться. Такое положение, видимо, вместе со многими благами имеет и отрицательную сторону: из окопа можно многое не увидеть или увидеть плохо и ошибиться, обмануться».

В этих искренних словах Константина Лордкипанидзе проступает некое грызущее разум и сердце сомнение, овладевшее писателем в пожилом возрасте. Это неожиданное признание человека, который был всегда глубоко (а может и слепо) уверен в своей правоте. Однако более точной самохарактеристики, метафорической оценки и истолкования собственного творчества, пожалуй, не найдешь.

В истекающем столетии отчетливо сформировался тип писателя — борца, гражданина, деятеля. По своему духовному складу и характеру, своим творчеством и биографией Константин Лордкипанидзе принадлежит к категории таких художников. Он был человеком колоссальной энергии, глубокой и непоколебимой веры, редкой боевитости, который жил интересами родной литературы и родного народа. Для него был неприемлем малейший компромисс. Боец по природе, он открыто боролся до конца, стойко защищал то, во что веровал умом и сердцем.

Именно поэтому он действительно всю жизнь походил на солдата, засевшего в окопе, откуда, правда, многое можно не увидеть, но поле битвы видно как на ладони. В рукопашной же схватке трудно отличить правого от виноватого, в чем не-



однократно убеждалось человечество, убеждалось, к сожалению, только после окончания сражения. Так случилось и с Константином Лордкипанидзе, еще в юношеском возрасте он проникся верой в большевистские идеалы и до конца жизни остался преданным им. (Это парадокс, но среди грузинских писателей самыми яркими защитниками принципа партийности литературы были беспартийные Константин Лордкипанидзе и Бесо Жгенти).

Такая позиция в немалой степени нанесла вред художественному миру писателя, который, в основном, объемлет быт и заботы грузинского села. Даже его лучшие произведения, романы «Заря Колхиды» и «Волшебный камень», циклы рассказов или образец документальной прозы «Хроника грузинского села» явно отмечены клеймом партийности.

И все же смело можно утверждать, что, несмотря на апологию социалистического строя, творчество Константина Лордкипанидзе благодаря его таланту, внутренней верности реализму стало художественной летописью грузинской деревни эпохи социализма. В нем с большим мастерством отображены обстоятельства, быт и характеры людей. Вызывает сожаление, что этот плод не является экологически чистым из-за тех «ядохимикатов», применение которых считалось обязательным и к которым в большей или меньшей степени, за редким исключением, прибегали по принуждению или по доброй воле все служители литературы и искусства. Отдавая должное К. Лордкипанидзе, должен сказать (мои близкие с ним контакты дают основание для подобного заявления), что он не за страх, а за совесть служил новой идеологии, которая, оказывая минимальные блага (неослабное внимание к литературе и искусству, поддержка национальных культур, материальное обеспечение художников, щедрая раздача чинов и медалей), тем не менее причинила огромный вред литературе (непокорных писателей подвергла репрессиям, а у оставшихся в живых отняла или сильно ограничила основное — творческую свободу и искренность).

Еще одним плодом творчества Константина Лордкипанидзе является журнал «Литературная Грузия». Он работал и в других учреждениях на протяжении жизни — был и главным редактором разных журналов, и директором разных издательств. Везде отличался как твердый, деловой и умелый руководитель, но деятельность в «Литературной Грузии» занимает особое место в его биографии. Он вложил в нее всю любовь

и сердечный жар, сделал много такого, чего никто от него не ожидал.

Так, например, он был известен своей верностью партийному курсу и по этой причине неоднократно совершал неблагоприятные поступки. Мужественная и трагическая кончина — публичное самоубийство в здании Союза писателей безвинной жертвы большевистских репрессий, прекрасного поэта и личности Паоло Яшвили потрясла всех. Особенно ошеломила она очевидцев, которые вдруг на какой-то миг даже забыли о страхе перед Берия. И лишь единицы, в том числе Константин Лордкипанидзе, повели себя предосудительно, оскорбительно отозвавшись о рыцаре грузинской литературы и его протесте, направленном против коммунистической тирании.

А в 50-х годах, когда разоблачители Сталина начали идеологические репрессии, Константин Лордкипанидзе публикует на страницах «Литературной Грузии» стихи не угодного властям Пастернака, после чего преследуемый гениальный поэт присылает ему полное благодарности сердечное письмо.

И это — не исключительный случай. «Литературная Грузия» в масштабе всего Советского Союза стала, можно сказать, единственным журналом, где публиковались произведения Александра Межирова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджава, Юнны Мориц и многих других авторов, чьи поэтические или прозаические сочинения официоз признавал «идеологически вредными».

Да, это происходило в журнале, основателем и первым редактором которого являлся известный своей преданностью коммунистической идеологии Константин Лордкипанидзе. Такое здоровое и смелое отношение к творчеству оппозиционно мыслящих писателей впоследствии стало традицией «Литературной Грузии», где и главными редакторами, и сотрудниками являлись известные писатели и переводчики.

Во времена же Константина Лордкипанидзе эту миссию — установление творческих и личных отношений с прогрессивными, или «бунтующими» представителями русской литературы, в первую очередь, молодого поколения — прекрасно выполняли, в основном, два замечательных человека — критик Эдуард Елигулашвили и переводчик Борис Гасс.

Квартира Константина Лордкипанидзе в Тбилиси и в особенности дача во Мцхета превратились в уютные, интимные очаги, где встречались, беседовали, спорили, проводили время прогрессивные русские и грузинские писатели.

Подобное поведение Константина Лордкипанидзе трудно поддается объяснению. Безусловно, на него оказала определенное влияние «оттепель», последовавшая за осуждением культа личности, но ведь ей на смену скоро пришел «мороз». Этот парадокс тем более удивителен, что Константин Лордкипанидзе ни тогда, ни позднее ни на йоту не изменил принципу партийности литературы в своем творчестве.

Так он и прожил свою жизнь, до конца не утратив веры в коммунистические идеалы.

Перешагнув восьмидесятилетний рубеж, он до последнего вздоха оставался деятельным и неутомимым, подолгу находился в Кахети, ездил по селам, знакомился с обстановкой, писал документальную прозу, чтобы показать, какие блага, по его глубокому убеждению, принес крестьянству новый курс Коммунистической партии.

Вскоре после кончины Константина Лордкипанидзе пал и коммунистический режим, распался Советский Союз, и все, чему преданно служил писатель, стало принадлежностью истории.

Разумеется, в этом разрезе судьба Константина Лордкипанидзе как писателя глубоко трагична. Его истинный талант и художественные возможности во многом были растрчены зря или служили тому, чему не должны были служить. Тем не менее хочу повторить вновь — без его творчества невозможно представить себе грузинскую литературу двадцатого века. А одной из самых дорогих и счастливых страниц его творчества стал журнал «Литературная Грузия».

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ



ВЕНЦЕНОСНЫЙ ПОЭТ

Зимой 1663 года на севере Ирана, в крепости Астарабад, скончался почетный пленник, царь Грузии — Теймураз I, отказавшийся принять ислам. Подобно своей матери, мученице Кетеван, своим сыновьям, погибшим в застенках жестокого шаха Аббаса I, Теймураз отдал жизнь за свободу и веру...

Однако, как писал великий грузинский историк Иванэ Джавахишвили, если в политической жизни Грузия боролась с мусульманскими государствами, в их числе и с Ираном, то поэзия и культура создавали духовную общность между грузинами и персами. И в самом деле, с детства знакомый с персидским языком и литературой, Теймураз не скрывал, что именно «сладость речи персидской» вдохновила его стать поэтом.

Творчество венценосного поэта является важной вехой как в истории древнегрузинской литературы, так и в истории грузино-персидских литературных связей, имевших многовековую традицию. Теймураз обогатил родную словесность всемирно известными персидскими сюжетами и мотивами, придав им оригинальное, грузинское звучание. Его перу принадлежат поэмы «Леилмаджнуниани» (на тему несчастной любви восточных Ромео и Джульетты — Лейли и Маджнуна), «Иосебзилиханиани» (на тему древнейшей легенды об Иосифе Прекрасном, отраженной как в Библии, так и в Коране), «Вардбулбулиани» (популярный в восточной литературе сюжет о любви соловья к розе), «Шамипарваниани» (также распространенный мотив о стремлении мотылька — парвана к свече — шамъ).

Все четыре поэмы построены на персидском материале, автор даже указывает конкретные источники, однако ни один из них пока не установлен. Поэмы Теймураза, как было отмечено выше, наполнены грузинскими, христианскими деталями, продолжают традиции классической грузинской поэзии (в

особенности. Шота Руставели), творчески развивают грузино-персидские литературные связи. Его пятая поэма — «Мученичество царицы Кетеван» тематически также связана с Ираном.

Разнообразна и богата лирика Теймураза I, в которой с особым блеском проявилось его поэтическое мастерство. Тут и знаменитые «маджамы» (омонимические рифмы), красочные описания («Дворец в Греми»), прения — муназаре («Сравнение весны и осени», «Прение вина и уст»). Можно сказать, что поэтическое наследие Теймураза I, создаваемое урывками, в минуты редкого покоя, занимает почетное место в истории грузинской словесности. Недаром его современник, сам поэт, Нодар Цицишвили сказал о нем: «Сложил царственные стихи, достойные самого Руставели».

Александр ГВАХАРИЯ

ТЕЙМУРАЗ I
(1589—1663)

РОЗЫ УСТ

1.

Розы уст моею кровью насладиться захотели.
Режет сердце нож алмазный, торопясь к заветной цели.
И когда клинок зардеет, вспыхнет боль в несчастном теле.
Как меня, ты поражаешь все светила в их пределе.

2.

Соловья отвергла роза, тернием исколот он,
Но, рыдая как безумный, вновь к ней мчится на поклон,
Вьется, мечется бедняга, исторгает горький стон:
«Хоть бы взглядом оживила — ведь я так в тебя влюблен!»

3.

И покинул сад безумец, с ним расстался поневоле.
Жизнь влачит среди колючек, не летает в небе боле,
Всем показывает сердце, рассеченное на доли.
Для него сорву я розу, чтобы вылечить от боли.

4.

Сердцу бедному не скрыться от нахлынувших невзгод:
То булат его терзает, то его злосчастье бьет.
Терпит раны, отвергая врачевателей уход.
Сам не знаю, как я выжил, испытав плененья гнет.

5.

Но теперь желает сердце стать свободным от печали.
Как оно устало биться, ощущая холод стали!
Слез моих поток обилен — он вот-вот затопит дали.
Дайте броситься в пучину — радость светлая в опале!

6.

Словно прах, развеял счастье окаянный этот свет.
На меня напали разом тысячи незваных бед.
Боже! Губ рубины станут янтарем на склоне лет!
Хоть бы смерч не тронул розу, дал бы день понежить
цвет!

7.

Усмири огонь свой, сердце, не к добру его пыланье:
От любви безумцем станешь, побредешь тропой
скитанья.
Но найдут тебя ресницы и пронзят без колебанья.
Впрочем, будь самим собою: схожестъ — божье
наказанье.

8.

Что ты медлишь, нож алмазный, не войдешь по
рукоять?
Почему из мира злого не пытаюсь я бежать?
Почему, возжаждав смерти, остаюсь ни с чем опять?
Как юла, мой ум кружится: то вперед, то снова вспять.

9.

Колдовство в твоих зеницах — сердце им служить
ГОТОВО.

Только вот ресницы-копья сердце мучить будут снова:
«На тебя мы и не взглянем», — очеса твердят сурово.
Не даешь припасть губами? Пусть же страсть
наполнит слово!

10.

Брови вскинулись надменно — и пронзили стрелы
грудь.

Этим ты укоротила мой и так короткий путь.
Ты взошла! Луне пора бы затаиться где-нибудь.
В кельях книжники восславят скоро стать твою и суть.

11.

Розы уст от крови влажны — кровь моя на них
дымится.

Вместо сердца — рдяный сгусток: пронзено стрелой,
как птица.

От тебя теряют разум, ибо ты — светил царица.
С покорительницей неба разве может раб сразиться?

12.

Да, я раб твой, я немею, видя чудо из чудес —
Глаз чернильные озера, к нам сошедшие с небес.
Ты украсила всю землю, озарила дол и лес,
Но меня утешить встречей отказалась наотрез.

13.

У тебя, у стройной розы, сад агатовый, прекрасный.
Щеки алые так ярки, что смотреть на них опасно.
Я письмо тебе отправил, ты в ответ: «Как смел,
несчастный!»
Стань пустынником, о сердце, раз мечтания напрасны!

14.

Солнцеликая, я знаю, ты убьешь меня со зла,
Каюсь в том, что мало славил, больше требовал тепла.
Что ж, пожертвую собою и сожгу себя дотла,
Чтобы, вспомнив о страдальце, ты свой норов
прокляла.

15.

Я сражен! Лучи кумира, как ножи, пронзили тело,
Смерть моя таилась в перлах и в рубинах тайно зрела.
Увлекла судьба к ней сердце, сжав мгновенно и
умело.
Смертных бич, она красою покоряет их всецело.

16.

Пусть хоть кто-то, ленью сбросив, жизнь мою
прервет всерьез.
Мир со мною был неласков, доводил до жгучих слез,
Вместо вин давал мне уксус и колючки вместо роз.
Стала жизнь невыносимой от ударов и заноз.

17.


Ну и год — одни невзгоды, содрогаюсь я недаром:
Беды сердце охватили пожирающим пожаром.
От любви мне нужен панцирь, что бесчувственен к
ударам,
Ибо ты — луна без пятен, напоенная нектаром.

УКОР МИРУ СЕМУ

Всеблагой, на небе сущий, слово чье для смертных
свято,
Ты один в себе вмещаешь то, чем вся земля богата.
В пламя ты низвергнул бесов — свора их огнем объята,
Беглецов провел по морю, защитив от супостата.

Боже наш, твоим деяньям хор людской хвалу поет,
Ибо ты всего живого и создатель и оплот.
Тот, в ком помыслы о вечном, блага мира отметет,
И его души не тронет жезл, карающий с высот.

Бог сошел к нам, нечестивым, чтоб спасти нас от
падения.
Сотворенные из глины, в нем обрящете спасенье.
Дух ваш вышибут из плоти за земные прегрешенья.
Лучше смыть грехи слезами, чем терпеть в аду
мученья.



Обратим зеницы к Богу и прольем из них поток,
Дабы дьявол, став незримым, нас в тенета не завлек.
Чая он держит наготове — в нем смола и кипяток.
Будем глухи к искушеньям, выстоять дадим зарок!

Я страшусь небесных молний — этой жуткой Божьей
кары.

Господи, помилосердствуй, удержи свои удары!
Почему о покаянье я забыл, как грешник ярый,
И не жил, даруя радость и гася вражды пожары?

Не отмыться мне от скверны — бесполезен слезный
ток:

Желоба он лишь прорезал на поблекшей коже щек.
Как, земля, меня ты носишь, не разверзнешься у ног?
Я хочу спастись, но ложью прикрываю свой порок.

Мечется душа, стенает — радостей она не знала.
Копья мук в нее впивались, словно огненные жала.
Лучше б к храму припадал я, чтобы чище стать
кристалла,

Иль, одетый в траур, плакал, орошая луг устало.

Ты, душа, сплошная рана — боль терпеть все тяжелей.
То мороз тебя терзает, то жара, то суховей.
В степь уйди, как все безумцы, в степь, немедленно,
скорей!

Не спасут тебя от скорби сотни мудрых лекарей.

Грешница, бежишь от смерти, ибо знаешь без сомненья,
Что в аду тебя ждут пытки, раскаленные каменья.
Небо черно, солнце хмуро — не видать тебе спасенья.
Прочь, хранители кумирен, не пойду к вам в
услуженье!

От мирских забот как скрыться — грудь мою они
когтят.

Посвящу себя я Богу, отказавшись от усад.
Благочестием примерным стану тешить Божий взгляд,
Так как бьет Господь нещадно каждого, кто виноват.

Злобен мир сей и коварен, обольщает нас умело:
Льнет, клянется, обещает, нежит сердце то и дело,
А затем, как ворог лютый, истерзает дух и тело.
Презираю тех, кто миру доверяется всецело!

Оглядитесь и прозрейте! Кто был счастлив до конца?
Муж, кичившийся короной, обезглавлен у дворца,
Разоритель царств — в могиле, черви гложат мертвеца.
Не держись, душа, за мир сей, как покорная овца!

Всяк живущий в этом мире, вдумайся в его деянья.
Вероломный, он погубит каждого без колебанья.
Где теперь цари бывшие? Ни следа от их сиянья.
Так отриньте же утех ради слез и покаянья!

Манит нас к себе богатство — трудно алчность
побороть.
Чище стать душа стремится, но препятствует ей плоть.
Мир соблазнами мечтает, как орех, нас расколоть.
Одолеем искушенья, коль поможет в том Господь.

Не желаю, миродержцы, восхищаться гнусным светом.
Будет всех судить Мессия — Михаил вещал об этом.
И воздаст он по заслугам нам, преступникам отпетым,
Ибо часто мы грешили вопреки святым заветам.

Множит мир мои страданья, чтоб лишить последних
сил.
Опоил меня он зельем, сам же яда не отпил.
В бездну черную низринул, змеи где да вязкий ил,
Вместо пурпура дал саван, хоть я Дали¹ не убил.

Человек, коль будешь стоек в жизни мерзостной и
грешной,
Ты избегнешь Божьей кары, не умрешь во тьме
кромешной.
А поддавшись искушеньям неразумно и поспешно,
Столько горя испытаешь, что завоешь безутешно.

¹ Дали — в грузинской мифологии богиня охоты.

Если б истинную цену миру мы могли узнать!
Вероломный лис, возвысив, нож вонзит по рукоять,
Оживит и вновь изменит, и начнет казнить опять.
Говорят не зря, что глупо ласкам мира доверять.

Очищения я жажду, но грехи мешают снова.
Мне бы груз печали сбросить, молвить праведное
слово.

А не то душа простится с плотью грешною сурово,
И меня изжарят в пекле на конце прута стального.

Мир! Измученный тобою, я тебя проклясть готов.
Ты не пел мне колыбельной и лишил блаженных снов.
А ведь Бог израильтянам манну дал, хоть был суров,
Освятил рождением дочки старца Иоакима кров.

Не карай, всевластный, душу, благодать даруй
прощенья,
Чтобы раны затянулись и окончились мученья.
От бессонницы иные маются до одуренья,
А к другим приходит радость светлого успокоенья.

Каждому дарован разум, но не всякому он впрок.
Наказал за ослушанье Еву наш всеправый Бог.
Хочешь жить в раю небесном, отвергай любой порок.
Рай для праведника — близок, для грешащего —
далек...

Матерь Божья, ты, как солнце, озаряешь светом нас.
Мы к тебе всегда взываем в нестерпимо горький час.
В лоно принявшая Бога, помоги и в этот раз:
Будь защитой христианам — до Творца дойдет твой
глас.

Перевод Георгия АШКИНАДЗЕ



Лина ХИХАДЗЕ

ОБРАЗ - СИМВОЛ

В новой грузинской литературе высится монолит: строгая женская фигура, именуемая Вдовой из дома Отарова — ее и представляешь себе почти в сценической скульптурной пластике. Известно, что этот живой и реалистический образ грузинской крестьянки обрел в читательском восприятии черты образа-символа, что в основу его автор, Илья Чавчавадзе, заложил монолитный крестьянский фундамент. В крестьянстве, а не в сословии, к которому принадлежал, видел он залог спасения нации и в Отаровой вдове воплотил «аристократический крестьянский тип», если использовать известные слова Глеба Успенского.

Архитектонически повесть «Отарова вдова» несложна. Почти все ее пространство занимают сама вдова и ее сын Георгий, прошедший строгую школу ее воспитания. Рядом существуют люди высшего сословия — князь Арчил и княжна Кесо, объект безответной и беззаветной любви Георгия, персонажи, ведущие нескончаемый идеологический спор о путях возрождения грузинской нации, о способах восстановления «разрушенного моста» между сословиями. В беседах брата и сестры звучит тема греховности праздной жизни, мотив вины, не столько личной, сколько наследственной, сословной, и боль о «рухнувшем мосте», о социальных мирах, «отгороженных

друг от друга разными заборами», о «двух половинах»¹, отсеченных друг от друга. Арчил уповаet на их соединение в будущем. Глава грузинского национального движения, великий гуманист Илья Чавчавадзе тоже желал надеяться на возможность их ненасильственного объединения, видя в том пользу для нации. Насколько он в это верил? Ведь обстановка была накалена до предела, и до его мученической смерти оставалось каких-нибудь пятнадцать лет...

И. Чавчавадзе — великий деятель своего исторического времени — всегда проявлял острый интерес к общечеловеческому смыслу художественных творений. Рассмотренное в этом ракурсе личное и национально-своеобразное четко обнаруживают то общечеловеческое, гуманистическое содержание, которое составляет ядро любой культуры. «Скорбь и страдания Н. Бараташвили являются скорее всеобщими, общечеловеческими, чем принадлежностью лишь его сердца... Он сообщил масштабность и глубину нашему мышлению и душевному стремлению. Он приобщил грузина к общечеловеческой жажде, дал припасть ему к источнику, утоляющему эту жажду»². Потому И. Чавчавадзе так свободно сопоставляет «Мерани» с «Каином» и «Фаустом», устанавливая общую природу этих высших художественных проявлений человеческого духа и их индивидуальные различия. «Байрон избрал Люцифера для Каина, Гете — Мефистофеля для Фауста, а наш поэт — Мерани — то есть свой душевный порыв»³. Вечные темы, вечные образы — человечество глядится в них, пытается разгадать загадку собственной жизни. Меняя форму, вечные истины живут в искусстве постоянно. Об этом И. Чавчавадзе много размышлял.

«Степень величия писателя, его значение для мира зависит от того, насколько его творческой силе доступно создание общечеловеческого типа. Нечего и говорить, что нация, к которой принадлежит писатель, заставляет его рядить в свои одежды, раскрашивать своими красками каждый образ, создаваемый им, каждое произведение — но это только внешние

¹ Илья Чавчавадзе. Избранные сочинения, т. II, Тбилиси, 1937, с. 284. Пер. Е. Гогоберидзе. Далее цитаты будут приведены по этому изданию с указанием стр. в тексте.

² И. Чавчавадзе. Полное собрание сочинений, т. III, 1953, с. 219 (на груз. яз.).

³ Там же, с. 216.

атрибуты, а не та внутренняя природа образа, которая в данном случае является общей, а не частной, и подчиняется своим внутренним законам»⁴. Так и повесть «Отарова вдова» в ней ярко живет душа, культура и история нации, и, вместе с тем, она вся, насквозь проникнута мирообъемлющей системой ценностей, включающей в себя и религию. Постоянные, тревожные раздумья о судьбе нации и не менее постоянное обращение к духовным тайнам бытия — вот два встречных потока, составляющие тайну повести, которая расшифровывает, заставляет взглянуться, угадать себя сквозь повествовательное течение чавчавадзевской эпики. Так воссоздан и проникнутый национальными регалиями быт героини, в своем значении восходящий к бытию.

Всякий шедевр (а «Отарова вдова», несомненно, принадлежит к числу шедевров) соткан из странных загадок и глубоко затаенных признаний. К их числу относится невыговоренное признание, равнозначное знаменитому флюберовскому «Мадам Бовари — это я».

Не споря с теми, кто развенчивает Отарову вдову как идеал, я полагаю, что и развенчивать нет надобности: она отнюдь не идеал, но живой человек «со всякой всячиной»: и груба, и бесцеремонна, и «доброделанье» ее настолько густо «посыпано перцем», что не всякий захочет принять его. Рисуя этот образ, автор местами даже прибегает к гротеску, во всяком случае, есть в нем доля той «спасительной иронии», за которой он скрывает свое личное присутствие. «Если когда-нибудь писатель воплощал характерные свои черты в созданном им типе, то это сделал И. Чавчавадзе в образе Отаровой вдовы»⁵, — заметил еще Кита Абашидзе.

Но близость неукоснительно прячется за «дистанцией», проявляющейся во всех компонентах повествовательной структуры, в том числе в основной тональности или в интонации, которая обычно свойственна литературному произведению как целостному единству.

Известно, как важна для художников «первая фраза» и какие усилия часто тратятся на то, чтобы ее найти, потому что удачно найденная первая фраза произведения становится

⁴ Там же, с. 168—169.

⁵ Кита Абашидзе. Этюды. Тбилиси, 1962, с. 204 (на груз. яз.).

ключевой для эмоционального восприятия художественного творения в целом. Повесть «Отарова вдова» начинается так:

«В этой огромной деревне, которую я назову хотя бы Цаблиани, все знали Отарову вдову. Если спросить гзири — сельского глашатая, он скажет: никто, кроме солнца и дождя, не проникал во владения вдовы без ее на то воли» (225).

Здесь первая фраза сигнализирует и о тональности повествования в целом — объективной, отстраненной, и о том, что автором выносятся в характере героини на первый план — личная воля, никому, кроме солнца и дождя, неподвластная. Фраза несет в себе и опережающее сообщение, благодаря которому произведение воспринимается в заданном ключе: понимая, что, помимо солнца и дождя, существует еще более близкий, окружающий мир, читатель с подспудно возникающей тревогой спешит узнать, как эта свободная воля проявит себя в контакте с окружающим миром и как мир проявит себя в отношении к ней.

И мы, в свою очередь, опережая анализ, сформулируем тот, глубоко выстраданный самим автором нравственный постулат, который он заложил в основу этого «свойства» своей героини: свобода — это труд и бремя, свободная воля глубочайшим образом связана с ответственностью, с добровольным и неукоснительным исполнением долга.

Философия жизни героини повести, а вернее, ее способ существования не допускает никаких сделок с совестью. Она может ходить только по прямой. В чем смысл этого жестковатого максимализма? Возможно, автор добивался того, чтобы понятия добра и зла вновь вошли в читательское восприятие в чистом виде (в его время, как и в наше, заметим, это имело жизненно важное значение). Хотел вернуть им восприимчивость. Хотел изменить читательское видение мира.

Чавчавадзевская героиня снова и снова напоминает людям, что жизнь начинается с ответственности и держится на ней.

Я бы позволила себе не согласиться с утверждением, что подобный образ жизни для нее совершенно бессознателен, как и с тем, что она религиозна бессознательно. Совершенно справедливо, что данный способ существования естественен для нее, соответствует коренным свойствам ее натуры, но, вместе с тем, безусловно, что это — именно избранный и осмысленный путь, требующий личностных усилий.

«Дарование есть поручение» (а внутренняя свобода — безусловно дар). Но отрабатывать свой дар можно, только ос-

мыслив это поручение и этот дар. Да и все, что Отарова вдова говорит о религии (при всем своем немногословии на эту тему она говорит более всего), отражает по существу религиозную этику. Труд как содержание жизни и как узы, соединяющие тебя с землей, долг, самоограничение, чувство личного достоинства — всем этим она руководствуется не бессознательно. Конечно, все это соответствует, как было сказано, ее коренному существу, но одновременно есть результат ее свободного выбора, трудного выбора, скажем сразу.

Тот факт, что героиня в тексте ни разу не названа по имени (имя мужа — Тевдорэ — упомянуто дважды) исполнен для меня высокого и грустного смысла. Даже в мыслях, даже наедине с собой она называет себя Отаровой вдовой. Собственное ее имя, одно из тех нежных женских имен, которые так сливаются с владелицами, что кажется, несут отсвет их неповторимости, не произнесено ни разу. Вместе с именем она готова отринуть свою женскую природу, женскую слабость. «Сама, собственными руками, вскапывала, мотыжила, сеяла, полола и собирала, хотя односельчане судачили без конца:

— Слыханное ли дело? Женщина — и вдруг лопатой и мотыгой орудует? Однако вдова несколько с этим не считалась. — Не слыхали, так пусть услышат, — говорила она. — Чем я хуже хотя бы этого гнилушки Гогии? Если уж он с мотыгой да с лопатой справляется, так меня проклял, что ли, Господь? Мужчина, подумаешь, велика важность! А я вот женщина! И чем он лучше меня? У него — руки и ноги, и у меня тоже. Если он руками и ногами действует, так и я ведь не параличная» (230).

И свою редкостную природную доброту и нежность она так тщательно таит, что удается скрыть ее не только от других, но, похоже, и от себя. К примеру: вынеся нищему хлеб и, по обыкновению, «посыпав его перцем» — бранными словами, она заметила его босые израненные ноги. «Метнулась в дом, вынесла шесть хлебов, возвратившись, крикнула: «Ступай за мною, чтоб тебе пропасть!» На базаре выменяла эти хлебы на кусок свиной кожи для каламани и швырнула кожу нищему в голову. — Долг ему отдаешь, что ли? — спросил жирный, как боров, лавочник. — Само собою, чтоб ему пусто было. Иначе, с какой стати мне лишать себя хлеба и платить за его каламани, — солгала вдова» (229).

И вот еще один пример самоотречения, изображенный с

такой страстной серьезностью, что нельзя не понять: это автор прямо от себя лирически адресует его людям, как высшее выражение человеческого достоинства.

Георгий покидает мать ради возможности быть вблизи любимой женщины. Вдова потрясена. «Уходит так, как будто со мною не связан ни единой нитью! Рвется к чужим, словно его на веревке тянут». Потом, усилием воли подавив отчаяние, стала размышлять.

«Круженье сердца» кончается выводом, в котором побеждает не просто примирение с неизбежностью, но такой подвиг души, когда отказ от личного и высшее торжество личности оказываются нерасторжимы.

«— Нет, сынок! Будь счастлив, ты будь счастлив! А я, я вырву глаз, который видит только мое, только для меня, останусь жить только с тем глазом, что видит тебя и твое» (261).

Жесткое самоотречение — суть этого великого обязательства — результат огромного усилия личности. Люди, скажем так, нравственно непросветленные, таких усилий не делают и таких нравственных преград себе не ставят.

И последнее, главное ее самоотречение, отречение от собственной жизни, уход из нее — тоже результат ее решения, ее свободного выбора. Тяжело заболевшая после смерти сына, прикованная к постели, однажды бессонной ночью она услышала непонятный зов. «— Кто зовет меня, кто? — повторяла про себя утратившая сон больная, хотя нигде не было слышно ни единого звука, ни шороха. — Иди, говорит, иди! Куда зовет меня сердце и зачем? Куда тянет и зачем?» И, послушная этому внутреннему велению, хотя и боясь, что «упадет на дороге и умрет и останется ее труп на растерзание псам», она встает с постели и по чистейшему, не оскверненному еще человеческой ногой снегу бредет на кладбище, чтобы умереть на могиле сына, распластавшись на ней так, «как будто она хотела в едином объятии прижать к груди и этот холм, и камень на нем, и того, кто покоится под камнем» (296).

Если справедливо утверждение, что личность возникает из утрат, то начало формирования уникальной личности, какой является эта женщина, не случайно совпало со смертью мужа. «— Как стану без тебя жить? — пожаловалась я ему». И плакала, как плакала бы всякая другая, теряя мужа, старшего в семье, и произносила слова, в которых — горе утраты любимого и страх остаться одной, то есть все, что могла испытывать и говорить всякая другая на ее месте. «Как жить? Ра-

ботай и кормись. Да разве у меня текло с пальцев готовое масло и сало? Я работал и ел заработанный кусок хлеба. Мир крепко стоит, не бойся! Смотри только, держись в беде». Это напутствие умирающего мужа и стало завещанием (глава так и называется — «Завещание»), которое определило ее простые и ясные ориентиры добра и зла. Кстати, может быть, кажущаяся некоторым «бесполезной» «упрямая» верность памяти мужа объясняется именно тем, что это была верность «завещанию» и, в конечном итоге, верность себе.

Ее сын Георгий вырос под сенью пасмурной нежности матери, в атмосфере ее необщительной замкнутой одинокости — это не могло не наложить своего отпечатка, не меньше, чем те понятия, которые она ему передала. «Георгий обладал очень приятной, привлекательной внешностью и был бы еще лучше, если бы не суровый взгляд больших ястребиных глаз». «Улыбка так его красила, что трудно было оторвать взгляд», но «он редко улыбался».

В. Котетишвили, возмущаясь несправедливыми обвинениями в адрес Георгия, пишет: «Его даже Дон-Кихотом окрестили»⁶. Но ведь бессмертная тень ламанчского рыцаря действительно витает над этим грузинским парнем. Званный и незванный, гораздо чаще незванный, он бросается восстанавливать справедливость, порядок, честность. В силу безукоризненной цельности своей натуры, не терпящей надломов совести, в отношениях с миром он руководствуется своеобразным жестковатым кодексом рыцарства. Люди говорят о нем: «Никак не поймешь, то ли он сумасшедший, то ли человек, отмеченный Богом». Но Отарова вдова неслучайно сравнивала его с отцом. — «Ловкий он у меня парень! Все у него в руках спорится!.. Труженик он и вправду настоящий, да нет в нем того простодушия, той веселости сердца, что была у блаженной памяти его отца. Тевдорэ радостно за все брался, удержу не знал, ему что работа, что веселая попойка — все одно. Сын такой же старательный, усердный, способный, но редко когда брови расправит, редко когда весел за работой» (236—237). И любовь и жизнь его разворачиваются как драма с заранее предрешенным трагическим концом.

По всем художественным реалиям «Отарова вдова» — это повесть о Грузии 80-х годов. Но с точки зрения мироощущения, это, конечно, не только повесть о 80-х годах прошлого

⁶ В. Котетишвили. История грузинской литературы XIX в. Тбилиси, 1959, с. 343.

века, о пореформенной Грузии. Не желая впасть в соблазн полной проясненности, все-таки предположу, что мысли о вечности и о судьбе личности перед лицом вечности соседствуют здесь с мыслями о судьбе страны и иногда даже выступают на первый план.

Трагизм поставленных мирообъемлющих вопросов усилен тем, что в целом в повести господствует почти нерасторжимая близость автора к жизненной позиции главных персонажей.

Обратимся снова к некоторым структурообразующим моментам повести. Глава XVIII. Последнее признание. Умиравший Георгий открывает тайну своей любви: «Тогда, живой, я не мог тебе признаться. Меня связывали стыд, страх, благоговение. А теперь — умираю и говорю. Что взыщется с мертвого? Мертвые равны». Кесо потрясена. Она и не подозревала о внушенном ею чувстве. Любовь Георгия «натолкнулась на слепое сердце, запечатанное девятью печатями сословных предрассудков». Последнее обстоятельство, то, что любовь Георгия была не только безответной, но просто неугаданной, незамеченной, конечно, усиливает социальный трагизм ситуации.

Но в пределах той же небольшой главы, что, безусловно, находится в прямой связи с замыслом художественного произведения, возникает и образ другой любви, тоже непризнанной, пренебреженной, хотя между Отаровой вдовой и мельником Сосией, всю жизнь молча и благоговейно любившим ее, нет сословных барьеров.

Мосты разрушены не только между сословиями — речь идет о тотально разрушенных мостах, о разрушенных связях вообще между людьми. Люди не видят, не слышат друг друга. «...Человек ослеп именно на тот глаз, оглох именно на то ухо, которыми ему дано видеть другого и слышать другого. Что такое сердце? Если бы человек был один-одинешенек на свете, не было бы и сердца. Сердце — это добро, но осуществлять добро можно только тогда, когда людей двое. Чтобы добро родилось — нужны хотя бы два человека, потому что добро — это одновременно жертва одного и принятие этой жертвы другим. Если отсутствует жертвующий или принимающий жертву, нет и добра, следовательно, нет и сердца... Сердце одиночки, если нет рядом другого человека, — только мешок, который гонит кровь по человеческому телу...» (285).

Из всех революций И. Чавчавадзе безоговорочно чтит только одну, нравственную, ту, что совершается для «добро-

деланья», когда «хотя бы два человека» слышат друг друга. Известно, что эти взгляды Чавчавадзе были сочтены в свое время абстрактно-гуманистическими и реакционными. (Одна из характерных особенностей воинствующих идеологий — непременное желание выдавать свои постулаты за нечто универсальное).

Повесть «Отарова вдова» состоит из глав, единство которых определяется отнюдь не переплетом: между этими главами существует множество внутренних связей, смысловых переплетений. В этом смысле интересно сопоставить финал главы «Заря занимается» (XX) и финал последней главы «Проклятый вопрос» (XXII). Эти две главы и два финала разделяет всего одна глава — в ней описана смерть Отаровой вдовы, и она называется «Завет» (XXI).

Финал главы «Заря занимается» светел. Брат и сестра надеются, что их познание, купленное ценою слез, сыграет искупительную роль. «Когда умножатся потоки наших слез, они сольются рекой, река подымет большой плот и воссоединятся берега», потому что «слезы, рожденные познанием прошлого, — луч будущего, — а луч ведь предвещает зарю, не так ли, мой хороший? — Да, так. Брат и сестра радостно обнялись». Таково недалекое будущее в мечтательном воображении Арчила и Кесо. Но следующие за этим последние две главы, XXI и XXII, звучат полным диссонансом этим смутно-обнадеживающим обещаниям.

На последней странице возникает мельник Сосия — символ, знак полного одиночества, полной отверженности... Он плачет на коленях перед мертвым телом вдовы, но в это время приносят наскоро сколоченные носилки и кто-то, споткнувшись о него, пинает его ногой. Его тихая жалоба — «Пожалей меня» продолжена автором до «проклятого вопроса», которым кончается повесть (глава «Проклятый вопрос»). «И вправду, как не пожалеть? Но чья на свете судьба недостойна жалости? Вот еще один из проклятых вопросов в этом преходящем, неустроенном, несправедливом мире» (298).

«Отарова вдова» — одно из самых трагических произведений Ильи Чавчавадзе. Кажется, он отважился здесь дойти до пределов человеческого отчаяния и, не отменяя его, нашел в себе мужество ему противостоять.

Зная, как властны в истории, в «несправедливой» жизни человеческой безличные и бесчеловечные силы, он страстно желал, чтобы в нее были внесены усилия человечности.



ПОЭЗИЯ

Лия СТУРУА

НАДЕЯСЬ НА ЛЮБОВЬ

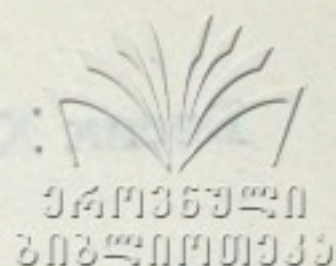
Всю жизнь с надеждой смотришь
в завтрашний день.
Но завтрашний день превращается
во вчерашний. Надежда — в печаль.
Печали, перемноженные друг на друга, —
в отчаянье...
Уже немного пугаешься рассвета,
и чем красивей и ясней
погода, тем сильнее испуг.
Но, может быть, Бог потому и льет
на голову столь жаркие дни,
чтоб холод небытия согреть
и облегчить для нас...
Наверное, Ему и подражаю,
когда я молоко из холодильника беру
и ставлю на огонь,
и закипит,
и из посуды выйдет,
словно живое существо,
и скажет мертвой корке хлеба
два-три горячих слова,
как будто колос выющийся оно,
как будто сама река.
Тогда я позову тебя, и ты увидишь,
как в дом ко мне вошел
летний пейзаж,

и мы поймем друг друга,
как молоко и хлеб,
забудем на мгновенье,
что ты и я — часть черной земли,
и настоящий день полюбим,
который окунулся в синеву
чернил, пролитых Богом.
А что случится завтра —
это знает зима,
ее морозное отчаянье...

ОРФЕЙ

Держу оркестра пульс. Дрожит он странно.
И требует настройки. Бьется нота.
Из жерла вновь ожившего вулкана
оранжевую лаву лью, чтоб кто-то
мог розы по земле рассыпать разом,
нарциссы по воде, огонь по снегу.
Кому под силу, не теряя разум,
создать такое? Богу? Человеку?
Богам за это фимиам курили.
Поэтов сворой бешеной травили.
И в сердце имя Глюка — шип. Заноза.
И безопасна музыка, как роза.
Подземной опере — молчанья пище —
внимает равнодушно вата бледных
теней. Бессильный альт Орфея ищет.
Покуда бас агатовый и медный
каблук богов меня не уничтожат,
я жду его. Он должен дать из горла
хрустального мне голос непохожий
свой, одинокий, абсолютно голый.
Таким распяты будет в сердце мира.
И боль усилится. Наполовину
он человек, наполовину лира,
мой вечный рыцарь. Больше не покину
я музыку. Но явь стоит за дверью
и рушит потолки. И все быстрее
иду по спуску, в землю. И не верю
уже в существование Орфея.

ИЗМЕНА ЗЕМЛЕ



Во мне соединились сон и явь.
В них нет живой земли,
По черной карте Земли хожу,
где ломаная трудность
преодоленья гор
безрукой и безногой
легкостью сменяется.
Так воды опрокинуты, что будто
над головой застыло облако медуз,
которое не может родить ни дождь,
ни снег,
ни ожидание прозрачности...
На протяжении всей жизни
на моей ладони
яичницы червонным набухали золотом,
которое я раздавала слепым —
ведь если свет отнять у глаз
и золото прибавить —
пусть к солнцу обратит свой взгляд
ночной судьбы и доли человек.
Но чтобы это суметь,
необходимо твердо верить,
что в большей степени ты — плод
стихотворенья,
а не родителей.
И солнце будет матерью твоей.
Однако
светилом ты так горячо любим,
что с болью головной идешь к деревьям,
но их бесплодье старческое тени не дает.
Дом рушится над головой.
Куда пойти и у кого укрыться?
Быть может, к скрипкам,
откуда синим каплет меланхолия,
чтоб в этот благодатный дождь
мне тоже превратиться
в музыку,
иль в воздух, иль ни во что.
Но лишь бы боль, сползающая с черной
карты Земли, меня не съела...

Перевод Инны КУЛИШОВОЙ

ПРАВДА — КОЛОСС

Когда все эти кошмары уйдут в небытие,
Когда наступит расцвет и уже не станет меня,
Помните, что все это было на самом деле.
Не для тех эта жизнь, кто спешит,
А для тех, кто замешкался,
Кто охвачен тоской и печалью,
Кто провожает взглядом жену, вставшую с кровати,
Кто колеблется с самого утра,
Кто медлит уже от рожденья,
Кто предается мечтам, лежа в постели,
И это занятие предпочитает
Мелкой суете жизни;
Кто подолгу молился Богу
И не решается сделать свой первый шаг,
Кто затерялся между словами «да» и «нет»;
Кто знает, что язык лишает нас многого,
И все хорошее — то, что превышает нас;
Кто ценит одни только мелочи,
Поскольку крупное — смерть и рождение —
Подвластны не нам;
Кто знает, что станешь тем, чему предаешься,
Что несущий легко свое бремя
Умирает молча на грунтовой дороге;
Что радости не бывает без зла,
Так как до прихода ее что-то всегда забывается,
Что талант изменяет себе многократно,
А бездарность — ни разу;
Что, прожив без чудачеств, расплатишься чем-то
ДРУГИМ,
Что высиживаемое ночами носишь в себе и днем;
Кто знает, что от рождества Христова повелось,
Чтобы правда была как колосс;
Кто составляет карту ненависти осторожно,
Чтоб случайно не коснуться ею любви;



Кто знает, что основные слова уже сказаны
И сейчас необходимо вовремя от них отойти;
Кто довериться может собаке — не человеку,
Ведь человека вдохновляет и то,
Что он может что-то попрасть;
Кто знает,
Что жизнь — это твои поступки
И то, как с тобой обращаются;
Кто знает, что доблесть — в уменье владеть собой,
Кто знает, что не взлетишь, ухватившись за мыльный
пузырь,

А упадешь в изумленность опущенных век;
Кто пошутил однажды,
Что душу и кошелек нельзя никому доверять;
Кто завещал умирая:
Ищите меня среди утерянных вещей;
Кто знает, о чем мечтать:
О развитии и естественном убывании,
(Как осенью вянут цветы),
Когда догорают вместе плоть и душа;
Кто знает, что проиграна жизнь
Забытыми ленивыми днями;
Кто знает, что игра и работа —
Два зеркала,
В которых человек может увидеть себя,
И что, попеременно глядя то в одно, то в другое,
Они сливаются для него воедино;
Кто знает, что ублажая тебя,
Чего-то намеренно не замечают;
Кто знает, что не научившись пренебрегать
мудростью

И наблюдать красоту сквозь пальцы,
Будешь растоптан ими;
Кто может в тысячный раз удивиться:
Отчего ежесекундно меняется жизнь,
Ведь она так стара и потерта;
Кто знает, что мудрый не отстаивает свою правоту,
Дожидаюсь случая, когда все станет ясным само
по себе;

Кто знает, что в сегодняшней Грузии
Даже безумный не бывает последовательным;
Кто знает,

Что крест прислоненный — не крест,
Крест — это то,
Что несешь на себе.



КОРИДОР

Это был длинный коридор древнейшего замка,
Тихий, заполненный книгами,
Где даже девушка-служанка
Не решалась ускорить шаги,
Так благоговейно входил сюда человек.
Еще издали
Взору его
Представал земной рай,
И, преисполненный почтения,
Поднимался он вверх по лестнице —
Все здесь было вечным и незыблемым.

Это был длинный коридор древнейшего замка
С шаткими половицами и пустыми канделябрами,
Одна из дверей вела на широкий балкон,
Вторая — на тихий уютный двор.
Нетрудно представить,
Как порой сливались здесь воедино
Вырвавшиеся на мгновение
Из женской и мужской половин господских покоев
Струи воздуха,
Сливались также тени и голоса
И тут же куда-то исчезали,
Унесенные сквозным ветром
То ли к западу, то ли к востоку,
Так как одна из дверей была всегда распахнута,
Вторую же беспрестанно кто-нибудь открывал.

А в далекие времена по коридору ходили не спеша
И бесшумно.
Единственный, кто в первый и последний раз
Поднялся по лестнице бегом,
Растревожив тишину коридора
Сердитым стуком каблуков,
Вбежал в спальню
И бросился вниз лицом на подушку,

Был молодой хозяин замка.
Но тогда произошло и кое-что другое:
Через какое-то время коридор и весь замок
Сотряслись от звука выстрела.

С того дня
Дверь коридора распахнулась и уже никогда не
закрывалась.

В нее входили и выходили.
Все выносилось и уносилось,
Отдирались половицы, обдирались стены и потолок,
Так как замок уже никому не принадлежал,
А точнее, принадлежал народу.

Коридор стал напоминать караванный путь —
Все добытое и краденое
Перетаскивалось по нему.
Отошло в прошлое время,
Когда бег по нему считался признаком безумия,
И никто не посмотрел бы даже вслед бегущему,
Когда люди никуда не спешили,
И даже Психея ездила на арбе.

Сколько раз разгоряченный с пылающим лбом
Попадал я в сквозняки коридора.
И если, пройдя его, ты не заболел,
Значит, ты был здоров.
Если же таился в тебе какой-то недуг,
Он отзывался на это мгновенно.
Даже в спальню невозможно было войти спокойно —
Непременно столкнешься с кем-то,
Или кто-то сам на тебя натыкался.
Проносятся мимо взад-вперед
Дети и их родители.
А подростки — эти прыщавые девочки и парни
В переходном возрасте —
Окончательно лишили покоя
И замок и его коридор.
Шум, голоса, звуки, безмозглость,
Женщины, мужчины... Одни входят, другие выходят —
Обе двери распахнуты настежь, и от этого гаснет
свеча,
Перевернуты половицы, стены сгнили, с потолка
смотрит небо,

Из земли просочилась вода...

Не выдержал замок такого количества звуков, людей,
топот и беготню,

Зачах и заплесневел.

Сейчас идет речь о евразийском коридоре,
Но, милостивый Боже,
Неужели он станет новой Вавилонской башней,
И унесет нас с собой сквозной ветер этого коридора,
Как бабочек, сдует со стен наши святые фрески,
Унесет наши монастыри и крепости,
Нашу воду и землю, наш язык
И место рождения?
Будет продано все,
Горы сравнятся с долиной,
Женщины одичают, и мужчины обабятся,
И останется между двумя морями
Большой коридор,
Где беспрерывно будут дуть сквозные ветры,
Где погаснет наша свеча.

РОЗОЙ — ОБМАНОМ

Разве роза когда-нибудь мне дала себя ощутить,
Роза — в саду, роза — в стихе,
Шипы — на дороге,
Дорога — в деревню, дорога — в город,
Сейчас самое время вспомнить
Всех замученных страждущих.
Хочется мне обмана, зажмуриться и насладиться
обманом,
Обманом меня родили, обманутым я умираю,
Голь в дому, голый на улице,
Голь на небе...
Голь, поскольку
Ни слово твое,
Ни душа, ни талант,
Ни доброта и ни разум
Сегодня не нужны никому.
Медленно умираешь на улице, дома,
Медленно умираешь в дороге, в метро,
Не коснувшись телом своим колоколов,

Молчаливый, как знаменосец...
Баюкавшая тебя колыбель
Заброшена на чердаке, не трогай ее, не буди.
Вином себя оглуши, как другие,
Напейся, чтоб сладко грезить,
Так как есть это вечное — «никогда»,
Вездесущее во все времена.
Хоть мукой его назови, хоть радостью,
Подели на часы, времена и на годы,
Нигде не найти того,
Что названо этим словом...
Бесперывное, бесконечное,
Вездесущее, вечное
«Никогда»...
Его не догнать, не понять, не увидеть,
Не настичь ни плевком, и ни силой внушения,
Ни выстрелом, не дотянуться рукой, как до розы.
И поэтому, моя милая, жизнь — бальзам,
Ну-ка, представь на миг, какая там, по ту сторону,
тьма,
До того пока зародится жизнь,
Какая там тьма и холод.
Я говорю не о матери, с ее порога
Начинается лишь действительность,
А о том, что случается после—о начале повествования.
«Спой мне, муза» — ну-ка, представь
Тьму и холод, что были до этих слов,
И после чего начинается жизнь — бальзам...
«Вначале было...» — как острие копья —
Из закрытой двери наружу
Торчат эти слова.
А дальше — начало бальзама,
Жизни — бальзама...
С этой минуты людей и предметы
Убивает их собственная действительность,
И никакая другая сила не замешана в происходящем,
А ко всему этому человек привыкает не каким-то
иным образом,
А розой — обманом.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

Гиви АЛХАЗИШВИЛИ

* * *

Так что же я ждал?

— Да то, что свершилось:
На переключку измена явилась,
Чему лишь изменник осмысленно рад.
Доверия нет. Порочные силы
Ненависть множат, восславив разлад.

Так что же я ждал?

— Выходит, паденья:
На переключку явилось Раствленье
Служивых людей и высших чинов.
Вот старый плакат на новый заменят,
Ничуть не вникая в искренность слов.

Так что же я ждал себе в оправданье?

— На переключку явилось рыданье
Страны, от которой не убежать,
Где горы и доли — мое упованье,
Где стих мой — как смерти печать.

Так что же я ждал?..

— Улыбки злодеев?..
Или участия своих фарисеев
Со взглядом, где я завесою скрыт?..
Вот так и живу, на Бога надеясь
И правде доверив свой быт.

А дальше-то как?

— На переключке
Крылатая ложь раскрыла кавычки —
Вдвоем мы остались: я и февраль.
Со мной говорят и лгут по привычке,
И смотрят в глаза Абсурд и Печаль.

СВЕТ БОЛИ



Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что поедаете дома вдов
и лицемерно долго молитесь...

От Матфея, 23.14.

Быт торжествует, но ты назови
Тех, кто копает для ближнего яму,
Кто оскверняет священные храмы
Лживым, хоть древним, глаголом любви?!

Лужи в светила себя превратили,
Слезы — страданья граненый алмаз.
Ныне пишу я для помнящих глаз
То, что молчанье мое сохранило.

В молчании — лица тех, кого нет,
Лица, сплетенные мигом Былого,
Как благородное честное слово,
В тайне хранимое, словно завет.

Сердце в шипах.

Но шипы тоже могут
Цветами взойти и высветить боль.
Былого плоды ты не обездоль,
Они — как лучи на темной дороге.

Боли лучей собирателем быть
Хотелось бы мне.

Но множатся сутки,
И кто-то в душе, коварный и жуткий,
Ходит и топчет желание жить.

Корчится город, как бес в хладе морга,
Беснуется, пьет кровавый свой хмель.
Торопятся в ад, где смотрят сквозь щель
И Он и Она — свидетели оргий.

Город, который в молитве солгал —
Истоки мои.

Содому подобен

Родимый вертеп.
И дик он, и злобен,
И дьявол узрел в нем свой идеал!



* * *

Небесный свод и звезд мерцанье,
И тишина в саду ночном.
О чем-то вдруг напоминанье,
Хоть и не знаю сам о чем...

Ночь возвращает мне Былое
(Так рвется с Настоящим связь):
Далекое и дорогое,
И ту мечту, что не сбылась...

И вслушиваясь в звездный трепет,
Подспудно ощущаю страх
Пред Вечности великолепьем,
Где, словно в склепе, стынет прах.

Ночь — памяти моей помеха,
Сумбур неизреченных слов.
В ночь оживает в жилах эхо
Когда-то снившихся стихов.

В недоумении великом
Я наполняюсь тишиной
И становлюсь астральным бликом
С парящей в небесах душой.

Перевод Гиви ОРАГВЕЛИДЗЕ



МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ

С творчеством Михаила Мревлишвили я познакомился в юности, когда прочитал очень смелый для того времени роман «Инон». Автор повествует о жизни Грузии первой четверти двадцатого столетия, но воссоздает ее не традиционными приемами и методами, а прибегая к новым формам и средствам. Произведение создано в стиле модернистской литературы, отмечено присущими ей тенденциями. И хотя объектом изображения является грузинская реальность, роман идейно не замыкается в национальных рамках, затрагивает



общечеловеческие вопросы и проблемы. Автор использует символично-фантастические элементы и, быть может, благодаря этому в первую очередь возникает как бы переключка эпох, переключка не только с прошлым, но и с будущим.

«Инон» вызвал резкое различие мнений в литературной общественности и принес известность молодому писателю. Его даже пригласили стать членом литературной группы «Арифони», в которую входили Михаил Джавахишвили, Геронтий Кикодзе, Шалва Дадвани, Лео Киачели, Сандро Шаншиашвили... Кстати, именно Михаил Джавахишвили способствовал публикации «Инона» в журнале «Мнатоби». И он же подарил начинающему писателю свою книгу с надписью: «Очень талантливому Михаилу Мревлишвили. Вы мне многое обещаете, и я многого жду. Мои надежды Вы должны оправдать».

У каждого писателя своя творческая судьба, тем более, что вдохновение — вещь своенравная и капризная. После пер-



вых успешных шагов Михаил Мревлишвили надолго отошел от литературы. В течение ряда лет работал по своей специальности экономистом в различных учреждениях сперва в Москве, затем уже в Тбилиси. «Москультстрой», «Мосстрой», «Самтрест», «Грузсельпроект», «Грузводхоз» — вот их, наверно, неполный перечень. В те годы, по его словам, он писал лишь экономические объяснительные записки к различным проектам. А там началась война, и инженер-экономист, призванный в армию, служил по интендантской части. Но, как оказалось, вдохновение не навсегда покинуло его, в 1944 году был написан и опубликован рассказ «Кинжал с золотой насечкой», в котором речь шла о ратных подвигах грузин как в прошлом, так и в настоящем.

Особая популярность Михаила Мревлишвили связана с двумя произведениями — с повестью «Очаг Харатели» и пьесой «Николоз Бараташвили». В повести описана грузинская деревня военных лет, тяжелый удел солдатки, ее быт, труд, любовь, верность. Театр имени Марджанишвили поставил по этому произведению спектакль, который пользовался большим успехом.

Трагическая судьба великого грузинского поэта-романтика, автора «Мерани», привлекала не одного художника. Немало написано на эту тему стихов и рассказов, произведений других жанров. Пьеса Михаила Мревлишвили — среди лучших из них. Недаром она не сходила со сцены более десяти лет.

Михаил Мревлишвили жил полнокровной жизнью писателя. Его таланту были присущи и лиричность, и драматизм, и трагичность. Он умел показывать тщету тщеславия, суетность эгоизма, гибельность розни и вражды. Язык его произведений богат, добротен и рельефен. Он знал, что работа со словом — вещь тяжелая, сродни работе каменотеса. А быть может, еще тяжелее, ибо, кроме пота, требует огромного нервного напряжения. Тут же хочу отметить, что Михаил Мревлишвили прекрасно владел русским языком и, разумеется, не только разговорным. Думаю, что при желании он вполне мог написать художественное произведение по-русски.

Главным редактором журнала «Литературная Грузия» Михаил Мревлишвили стал уже будучи именитым писателем. Пользуясь большим авторитетом, он без особого труда привлекал к сотрудничеству известных грузинских писателей, однако, как всякий настоящий редактор, любил работать и с начинающими авторами. Вкус у него был безошибочный, оце-

нки принципиальные, но справедливые. В те годы, когда каждый чиновник так и норовил вмешаться во внутриредакционные дела, посамодурничать, навязать свою тупую волю, Михаил Мревлишвили умел постоять за интересы журнала, никогда не уходил в кусты.

Я лично познакомился с Михаилом Мревлишвили, когда он был председателем Театрального общества республики. Долгие годы нас связывала искренняя дружба. Не раз путешествовали мы по разным уголкам Грузии. Он был легким на подъем человеком. Истинным грузином, обладавшим чувством национального самосознания, что проявилось в его произведениях. Они пронизаны грузинским духом, грузинской эмоциональностью, грузинским образом мышления. И в быту он оставался сыном своего народа. Друзья, например, помнят его непоказную, щедрую хлебосольность. Он любил наше традиционное застолье, наши песни и был красноречивым тамадой.

Георгий ЦИЦИШВИЛИ




ПРОЗА

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ

УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО БЫКА

Это случилось в первый понедельник великого поста, в «черный понедельник» — «мешке дощдиш». Может быть, этот день называют «черным понедельником» по той причине, что на него приходится праздник мужской детородной силы? Так или иначе, в этот день все сваны собираются в деревне Жахундер, чтобы под гигантским шатром вековой липы принять участие в буйном празднестве. Липа эта и в самом деле необъятна: диаметр мощного, покрытого мхом ствола — девять метров. Ветви ее хранят в памяти священные заветы и предания далеких предков.

Под звуки санкур, священных труб, народ стекался к кладбищу, площадь которого составляла не менее двухсот локтей. На всех могильных плитах лежали туры рога. Здесь, возле кладбища сваны возведут сегодня башню из снега — ведь праздник называется «лимурквамал» — «башня», символизирующая мужскую детородную силу. Вот раздается дикая боевая песнь «Спускаются с гор лашхи!». Появляются мужчины — охотники, воины. Они несут длинный шест с привязанным к нему лоскутом, это знамя сванов, за которое им сегодня предстоит биться. И снова затрубили санкуры. Два борца выступили на импровизированную арену: один из Верхней




Лашхи, другой из Нижней. С нечеловеческой силой налетели они друг на друга, завязалась беспощадная борьба. Победу одержал борец из Верхней Лашхи. Он стал первым борцом, кесаром. Его односельчане ликуют: теперь куда бы он ни пошел, знамя понесут за ним.

Тем временем снежная крепость возведена. Победители водружают на нее знамя. Короткий сигнал санкур — и толпа с гиком, грохотом, рыком бросается на штурм крепости. Знамя склоняется в сторону деревни Махаш, что вызывает бурное ликование махашцев: ведь это означает, что нынешний год принесет им обильный урожай.

Но все это — лишь подготовка к основной части праздника.

Внезапно от толпы отделяются двенадцать стройных мужчин. Они становятся в круг. Взяв друг друга за пряжки поясов, начинают танец. Приседая на одну ногу, резко выбрасывают перед собой другую. Это простой танец, но со строгим ритмом. Через несколько минут вторая дюжина мужчин легко вскакивает на плечи первой. Они образуют второй круг — левая нога на правом плече, правая — на левом нижнего танцора. Танец постепенно набирает силу. Еще несколько мгновений, и на второй круг точно таким же манером взлетает третий. Кружение убыстряется, ритм усиливается. Опьянение танцем пламенем охватывает трехэтажный хоровод. В недрах ритма зарождается песня. Танцоры кружатся уже в головокружительном темпе. С каждым мгновением растет мужская сила. Неожиданно, в какой-то неуловимый миг, из вихря танца выскакивает нижний круг танцоров. Оба верхних ряда тут же рассыпаются, танцоры падают на землю. Раздается дружный смех, веселье и радость, казалось, достигают апогея. Но танец еще не закончился. Теперь все танцоры выстраиваются в ряд, один за другим. Задние кладут руки на бедра передним, и начинается новый, еще более простой танец. Танцоры отбивают ритм ногами и хлопают друг друга рукой по бедру. Все быстрее, все энергичнее становятся их движения, все сильнее — возбуждение. И как из-под земли глухо раздается: «Ёх, ёх, ёх!»



Зримо растет мужская сила. Внезапно первый танцор резким движением сбрасывает с себя штаны, одной рукой вскидывает палку, другую прижимает к своему детородному органу. Упоенный победой, торжествует великий древний Фаллос! В глазах у всех — огонь, в ритме — священное безумие, перехватывающее дыхание. Воздух наэлектризован страстью, слышится лишь глухое «Ёх, ёх, ёх!» Напор вакхических сил достигает предела, как подкошенные падают на колени неистовствующие танцоры. Обнажив головы и обратив лица на восток, они исполняют протяжный гимн в честь Квириа, бога чувственного наслаждения. В этом гимне нет слов — лишь нечленораздельные, первобытные звуки, выкрикиваемые с глухим космическим чувством. Затем раздается: «Ёпупу, хопупу! Ёпупу, хопупу!» Что-то еще воспламенилось в душах одержимых, что выходит наружу чрез это горячее бормотание. Толпа облегченно вздыхает. И тут на площади появляется мужчина с лицом, вымазанным сажей. На голове у него — обвитая пенькой корзина, в руке — деревянный меч, а впереди — деревянный же фаллос. У него — вид одержимого. Неистово ударяя мечом по фаллосу, он, подпрыгивая, приближается к толпе. Приблизившись, пускается наутек, толпа бежит за ним, крича: «Ёпупу, хопупу! Ёпупу, хопупу!» Самые неистовствующие жадно ловят воздух ртом, носятся по площади с горящими глазами, не чуя под собою ног.

Неожиданно из толпы выскочил юноша по имени Ардеван, родом из вольной Сванети. Он казался безумнее других. Его крик стрелой пронзил возбужденную плоть толпы: «Пу́та Дадешкелиани убил священного быка!»

Толпа замерла, оцепенела. Слова Ардевана оглушили сванов, безжалостно погасили экстаз одержимых. Страх парализовал всех. Взоры мужчин, позвериному остановившиеся, все больше мрачнели. В расширенных зрачках застыл ужас. Убить священного быка? Это же безумие!

Ушгульский бык был посвящен богу Гермету. В течение четырех лет ему разрешалось наслаждаться благами жизни: он мог пастись где и сколько угодно. Никому не позволялось бить или прогонять его. На

пятый год, в день праздника «таната» его закалывали и всей деревней съедали. Спросите любого ушгульца, что означает этот временной тотем, он вряд ли даст вам вразумительный ответ. Но если скрытое племенное сознание каким-то чудом вдруг обретет физические уста, то оно скажет наверняка, что обреченное на смерть священное животное есть одновременно и жертва, и бог и что тот, кто вкусит его мяса, причастится к божественному.

И такого вот быка убил князь Пута Дадешкелиани! Весь Ушгули хранил молчание. Никто не решался спросить юношу, как это произошло.

Три года назад этот бык-исполин с белым пятном в виде полумесяца на лбу был избран ушгульцами для жертвоприношения. В течение трех лет он был обожествляемым тотемом. В то время, как других быков на зиму загоняли в хлев и держали там, словно пленников, священного быка не ограничивали в свободе перемещения: он постоянно мог находиться и резвиться на свежем воздухе. Так было и на сей раз. Ардеван не стал привязывать быка, выпустив его в заснеженное поле. Немного погодя он увидел князя Дадешкелиани верхом на коне. Князь — Ардеван в этом не сомневался — был пьян. Юноша, можно сказать, не поздоровался с князем, по крайней мере, не отвесил ему достаточно низкого поклона. Вольная Сванети ненавидела князя, так как тот пытался поработить весь край от Ушгули до Латали, край, который доселе никому не подчинялся. Пута рассвирепел. Бросив взгляд на быка, он обнажил меч и одним махом отсек ему голову. Закатившиеся глаза животного, полные гнева и смертного ужаса, несколько мгновений смотрели на палача...

Толпа стала разбредаться. Растерянные ушгульцы шли по домам. Каждому хотелось обсудить с другом ужасную новость, но нить общения оборвалась, никто не находил нужного слова. Казалось, все были скованы животным страхом, лишившим их способности к действию.

В тот вечер «мачуб», первый этаж сванского дома, выглядел негостеприимно. В тот вечер вольные сваны мрачно сидели у своих очагов. Звенья цепи, висящей над очагом, выкованы в виде фигур. Цепь

эта — символ рода, семьи. Пред ней сваны клянутся, пред ней же — проклинают. Осквернение цепи равносильно богохульству, а ее кража — оскорблению рода. В тот вечер вольные сваны чувствовали себя оскорбленными — поругана святыня рода.

Тихо и ровно горит огонь. Огонь священен. Это знает каждый сван. Они не смотрят в глаза друг другу. Они смотрят на огонь, и каждый чувствует, как из глубины его души поднимается жар. Женщины прядут. Лучины, горящие на трех стенах «мачуба», освещают массивные деревянные рамы стойла для скота. Животные стоят, опустив головы в ясли. Рамы, ясли и перегородка украшены резьбою, покрытой столетней очажной копотью. Древний звук жевания жвачки наполняет тишину. Глаза животных посверкивают в полумраке. В тот вечер сваны с грустью смотрели на скот, особенно — в том «мачубе», где жил убитый бык.

Ранним утром следующего дня затрубили санкуры, созывая народ под сень священной липы. Сваны из Муркмел, Чвибиани, Жибиани и других деревень вольной Сванети стекались к месту сбора. Собрание открыл ушгулец:

— Не было случая, чтобы община Латали мирилась с насилием, — сказал он. — Напрасно наши соседи из княжеской Сванети пытаются подчинить нас себе то силой, то хитростью. На силу мы отвечали оружием, на хитрость — упорством.

— Верно, верно! — кричали собравшиеся.

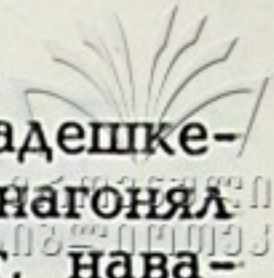
— Но враг обнаглел, — продолжал оратор. — Князь Пута Дадешкелиани убил нашего священного быка. Что мы скажем теперь богу Гермету?

Все молчали. Священный трепет охватил людей.

— Пута должен умереть! — заключил ушгулец.

— Пута должен умереть! — словно эхо повторила толпа.

Потом говорили другие. Все считали, что князь должен поплатиться жизнью за свое преступление. Но как убить князя, никто не знал. На единоборство с ним ушгульцы не отваживались, ибо он мог сразиться и с десятью храбрецами. Князь был огромного роста, как, впрочем, все Дадешкелиани, но отличался от сородичей ловкостью и силой необыкновенной.



Он олицетворял собой весь княжеский род Дадешке-лиани. Один только вид его могучей фигуры нагонял на людей непреодолимый страх. Быть может, навальнуться на него всем миром? Но это означало бы объявить войну княжеской Сванети, которая ушгульцам, конечно же, была не по силам. Даже в борьбе с одной лишь семьей князя ушгульцы вряд ли вышли бы победителями, ибо вместе со своими верными людьми он мог укрыться в башне, которую не взять приступом. Все это было известно ушгульцам, но они не хотели признаться себе в этом. Каждый горел желанием отомстить зарвавшемуся князю, но как эту месть осуществить — не знал никто. Так и не придя к какому-либо решению, стали расходиться по домам.

И тут один ушгулец шепнул другому: «А что, если заманить Путу в гости?» Шепот выдавал его страх — посягнуть на гостя по законам горцев считалось грехом, который ничем не искупить. Услышавший шепот затрепетал, но все же перешепнул третьему, третий — четвертому, и так чудовищная мысль змеей поползла от одного ушгульца к другому, повергая всех в ужас. Каждый старался оправдать себя тем, что это не его идея, и все же в душе он приветствовал ее. В конце концов ушгульцы молча решили заманить князя в свою деревню.

Прошло несколько месяцев, но князь Дадешке-лиани не показывался в Ушгули. Он гостил в это время в Абхазии. Ушгульцы, казалось, и думать перестали о мести, как будто забыли о происшедшем. Но в глубине души помнили о нанесенном оскорблении и ждали своего часа.

Князь появился в Ушгули в конце мая, ни о чем не подозревая, совершенно забыв о злополучном быке. Подумаешь, еще одно заколотое животное! В конце концов он мог подарить пять быков взамен убитого. Дело в том, что князь не был посвящен в тайну ушгульского быка. Итак, он проезжал через Ушгули, томимый невыносимой жаждой. У дома Пагнани увидел молодого Хасбулата. Тот вздрогнул при виде князя, но тут же овладел собой. Вспомнил о страшном замысле односельчан. Князь попросил воды, на что Хасбулат ответил:


— Не окажет ли князь честь нашему дому?

В другое время Дадешкелиани вряд ли удостоился бы вниманием подобную просьбу, но на сей раз он почти обрадовался ей. Не хотелось ли ему своим смирением загладить вину перед ушгульцами? И он согласился. Хасбулат взял его коня под уздцы. Князь спешился.

Отец Хасбулата, старый Кансав закатил небывалый пир. Он пригласил соседей, певцов и сказителей. Вино, подаваемое в турьих рогах, лилось рекой. За пиршественным столом зазвучали суровые, боевые песни. Стройные девушки закружились в танце с сельскими парнями. Старый сказитель играл на чунире, трехструнном инструменте с простым грифом и смычком. Сказитель пел о лесной богине Дали. Тамада произносил тост за тостом в честь пировавших.

Тем временем и стар и млад Ушгули стал стекаться к церквушке, стоящей напротив дома Пагнани — Хасбулат сообщил о появлении князя. Угодил-таки Пута в ловушку. Теперь его жизнь висела на волоске.

Волнуются ушгульцы. Князя надо убить и немедленно, более удобней случай вряд ли еще представится! Но кто убьет его? Кто нарушит закон гостеприимства? Кто возьмет на себя этот тяжкий грех? Никто! Конечно же, никто! Ушгульцы верны традициям и заветам отцов! Что же делать? И заработала коллективная мысль племени: князя убьют все вместе, все возьмут на себя ответственность за его смерть! Церквушка, где собрались ушгульцы, называлась «Ламария Ушгвлашиц», т. е. ушгульская Богородица. В представлении древних сванов Божья Матерь — не что иное, как Мать Земля. Тайком, молча приступили ушгульцы к осуществлению своего замысла: каждый из мужчин соскоблил немного свинца со своей пули; из собранного таким образом металла отлили общую пулю. Затем зарядили этой пулей ружье и установили его в одной из бойниц церковной ограды. И вновь перед всеми встал тот же вопрос: кто спустит курок? И вновь страх перед личной ответственностью обуял ушгульцев. Но коллективное сознание и на этот раз нашло выход: к спусковому крючку привязали длинную веревку — весь Ушгули потя-



нет за нее в нужный момент. Таким образом суд над провинившимся князем вершило все племя. Все ушгульцы держали руки на веревке и с замиранием сердца ждали условленной фразы. Вдруг из дома Пагнани раздался громовой голос тамады:

— Красного вина!

Это была заветная фраза! Сотни рук мгновенно дернули веревку. Князь, сидевший спиной к церкви, упал замертво. Месть за убитого священного быка свершилась! Ушгульцы ликовали!

Но все имеет свое начало и свой конец. Кансав Пагнани был взбешен. Убийство священного быка произошло в его отсутствие — он находился в соседней Лечхуми. О тайном замысле вольных сванов и их перешептывании ему ничего не было известно. И тут такой позор на его голову! Убить гостя? Поступить так бесчеловечно, так вероломно, осквернить святость заветов предков?! Старик отрекся от сына, от семьи, от всего племени и покинул родные края. Ушгули со страхом воспринял эту весть. И теперь волна мести, поднявшаяся в душе каждого ушгульца сразу же после убийства священного быка, сменилась волной покаяния. Сваны ощущали на себе несмываемое пятно позора. Теперь никто не посмеет войти в церковь Ламарии Ушгвлашиш. Мрак окутал сознание ушгульцев. Смятение поселилось в их сердцах. Мужество покинуло их. Труд утратил свой благодатный смысл. Жизнь всего края постепенно стала приходить в упадок, высыхали источники, даже коровы перестали тельиться и давать молоко. И подумалось всем: это кара Ушгульской Богородицы, Мать Земля не простила сванам их греха...

И в наши дни в период между Новым годом и днем Святых Петра и Павла в Ушгули не едят ни мясо, ни сыра и не пьют молока. Так ушгульцы искупают свою вину перед Божьей Матерью.

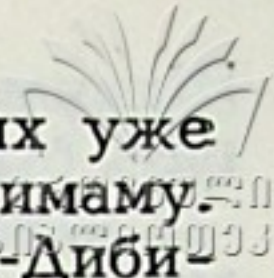
ИМАМ ШАМИЛЬ



Заходящее солнце заливало огненно-красным цветом луга у подножий гор-исполинов. На одном из склонов расположилась группа мужчин — они отдыхали на разостланных бурках, лениво расправляли свои гибкие, сильные члены. Вокруг бродили оседланные, слегка стреноженные лошади. Они жадно щипали жухлую траву, то и дело вскидывали головы и фыркали. Мужчины, остановившиеся на отдых, были наибами Шамиля — Сурахай из Коле, Хаджи-Али из Карака, Газим из Анда, Магомет-Эффенди из Гойми, Ахверд Магома из Хунзаха, Джевад-хан из Дарги, Анзир из Кареха, Хагнар-Дибир из Гигатли, Михайл из Хорака, Шуайб, Талгик, Хату, Эсак из Чечни, а также другие чеченцы, тавлинцы, аварцы и кабардинцы. Был среди них и знаменитый наиб Хаджи-Мурат со своими мюридами. Воины уныло глядели на закат. Обычно необузданным в радости и развлечениях, им в этот день не пелось, не танцевалось.

Они почти не говорили между собой; но всех их точила одна и та же мысль, одно и то же слово — «перемирие». Вот уже более семнадцати лет имам Шамиль отстаивает свободу гор от натиска русских. Племена горцев самоотверженно защищают каждую пядь своей земли. Их удары разят вражеские колонны. В великой битве при Дарги они наголову разбили русские полки. Да, на счету у горцев немало побед! И все же русские не отступают! Их войска все прибывают и прибывают в долины гор! Неудержимо, как лава, движутся русские цепи на неприступные скалы, осаждают аулы, эти орлиные гнезда бесстрашного народа. Надолго ли хватит сил? Этот вопрос не оставляет воинов ни на минуту, вселяя тревогу в их сердца. Непобедимые всадники Шамиля в растерянности. Угрюмыми взглядами провожают они заходящее солнце.

Перемирие! Но кто возьмет на себя смелость заговорить об этом с имамом? Два дня назад Джевад-хан и Хагнар-Дибир были у вождя, но не рискнули затронуть эту тему. Говорили о чеченских перебеж-



чиках, о том, как наказать предателей, которых уже схватили. И еще кое-что доложили наибы имаму. Джевад-хан осторожно искал взгляда Хагнар-Диббира, но тот опустил глаза. Оба знали, имам не вспылит при слове «перемирие», не накричит на них, но невозмутимое, как бы высеченное из камня лицо его изнутри, без единого звука вдруг наполнится безудержной яростью, и ярость эта будет пострашнее самого страшного крика. И наибы ушли, не сказав более ни слова.

Сейчас они держали совет, кого же послать к имаму по поводу перемирия. Ахверд-Магома назвал Хаджи-Мурата. Но тот смерил товарищей взглядом широко посаженных глаз, как бы говоривших: разве вам неизвестно, что между мной и Шамилем — тайная вражда? И тогда Шуайб произнес имя Шуанет — одной из жен имама. Наибы хорошо знают эту сильную, смелую женщину. Она часто сопровождает Шамиля, переодевшись в мужское платье. Ее безрассудная отвага, мужество у всех на устах. И именно поэтому наибы возражают: эта неистовая и бесстрашная амазонка будет против перемирия.

Долго совещались наибы. Наконец Сурахай из Коле сказал: мать имама! И все облегченно вздохнули. Итак, выбор сделан! Было решено на другое же утро послать к ней Сурахая, в сопровождении Хату и Эсака. И вот на следующий день Сурахай, Хату и Эсак явились к матери имама. Шамиля не было в серале. Это придавало наибам смелости. Стоя перед женщиной со скрещенными на груди руками, они передали ей решение наивов. Мать, пожилая, но еще крепкая горянка, услышав слово «перемирие», побледнела. Она знала, что положение племен почти безнадежно, но ей лучше других был известен непреклонный, твердый как кремль характер сына. Наибы молча ждали ответа. Долго думала мать, опустив голову. Наконец, дала согласие поговорить с сыном. Наибы поблагодарили ее и покинули дворец. А она вдруг опомнилась, дрожа всем телом, бросилась вон из сераля: догнать, догнать наивов, отказаться от их поручения! Она выбежала во двор, позвала охрану. Слишком поздно! Наибы уже ускакали. Тут в воротах показался сам

Шамиль на своем великолепном кабардинце. Отступить было поздно!

Имам въехал во двор в сопровождении семерых мюридов, последователей тариката — высшего учения Магомета. Он был облачен в черкеску винного цвета, рукава и ворот которой оторочены узкой полоской белого меха, на ногах — зеленые мягкие чувяки и черные ноговицы. За тонким черным поясом торчал кинжал. На голове возвышалась папаха с кистью и чалмой, длинный конец которой ниспадал на смуглую шею.

Легко соскочив с коня, он пружинистым шагом направился к сералю. Мать, словно зачарованная, неслышно последовала за ним. Она любила сына и боялась его. Внешне он был очень похож на нее — ее плоть и кровь. Но было в нем и что-то чуждое, непостижимое. Бывало, глядя на него, тогда еще мальчишку, она думала о том, что родила звереныша. Да что там мальчишка, он буйствовал уже в ее утробе. Она все еще помнит ту боль, которую он причинял ей, неистовствуя под сердцем на пятом месяце ее беременности.

Шамиль обернулся к матери. Она вздрогнула. Снова, как когда-то, ощутила боль во всем теле — так одноногий испытывает физические муки в несуществующей ноге. Они вошли в кунацкую и присели. Мать со страхом смотрела на сына. Его морщинистое, окаменелое лицо казалось вырезанным из какого-то негорючего дерева. По-звериному лукаво, не мигая, глядели его маленькие черные глаза. Губы девичьи красивого рта иногда еще выражали улыбку, глаза же — никогда. Их пронзительный взгляд смутит бы и палача. Темный огонь, горевший в этих глазах, перемежался со светом, который источало сдержанное, внутреннее волнение. И свет этот был подобен свету метеора. Казалось, весь он был вылит из черного метеорита. Светлая борода на смуглом лице — как отсвет вспышки космического тела. Но вот, что было странно: за неподвижностью его взгляда ощущалась огромная неземная тоска. Не поднимая головы, имам спросил:

— Чего ты хочешь, мать?

Старая женщина, усилием воли преодолев ро-

бость, сказала: «Наибы просят заключить с русскими перемирие». И умолкла, содрогнувшись. Шамиль поднял голову и взглянул на мать. Она ужаснулась. Глаза его на мгновение вспыхнули и тут же погасли. Это был не ее сын: чужой, внушавший страх человек стоял перед ней.

С напускной невозмутимостью он спросил мать:

— Кто послал тебя?

— Сурахай, Хату и Эсак.

— А Хаджи-Мурата среди них не было?

— Нет.

Оба замолчали.

— Оставь меня, — сказал Шамиль.

Он погрузился в раздумье. Он думал о Хаджи-Мурате. Уж не ему ли первому пришла в голову злосчастная мысль о перемирии? Слава о нем как о храбром воине росла с каждым днем. Еще немного, и он, пожалуй, сможет потягаться с самим имамом в славе и силе влияния на народ. Заковать бы в цепи этого непокорного наиба! Но Хаджи-Мурат рвал любые цепи. Как только могли преданные ему соратники поддержать безрассудный план этого бунтовщика?

Имам все глубже погружался в свои мысли. Остались ли у племен хоть какие-то силы, чтобы продолжить сопротивление русским? Он решил было созвать Высший Совет, но в следующее же мгновение передумал. Позвал слуг, велел оседлать коня. Скоро конь был готов. Шамиль вскочил в седло и умчался стрелой. На сей раз без обычного сопровождения.

Тревога кралась к сердцу имама. Перемирие! Ведь это позор! Неужели непобедимые потомки непобежденных аварцев, одолевших самого Надир-шаха, должны сдать русскому царю? Никогда! Последнее слово неугасимым огнем горело в его мозгу. И все же беспокойство не покидало имама. Ему казалось, что воля его вот-вот даст трещину.

Шамиль вспомнил случай, происшедший с ним в молодости. Враги окружили его в башне. Он не дрогнул, прыгнул вниз, прорвался сквозь вражескую цепь, был ранен шашкой в грудь, но не дался врагу. Притаившись в кустах, он снял пояс с оружием и в течение двух дней, прилагая нечеловеческие усилия, ле-

чил свою страшную рану. Старая рана теперь снова напомнила о себе, как будто и не заживала ^{вовсе.}

Шамиль спустился к ручью, на берегу которого резвились дети. Они пронзали воду детскими кинжалами, затем, подняв сверкающие клинки на солнце, проверяли, остались ли на них капли воды. Если капель не было, оружие годилось; если же хоть чуточка влаги задерживалась на стали, испытание повторялось.

Шамиль остановил коня. Дети не узнали его. Он спешился, напоил коня и пригоршней зачерпнул себе воды. Дети ступшевались. Молча глядели на сурового всадника.

— Мы поколотим врага! — почти по-детски сказал Шамиль.

— О, еще как поколотим! — восторженно закричали дети в ответ.

— Ты знаешь Шамиля? — спросил он одного из мальчишек.

— Да, мы знаем его! — хором ответили дети. — Он победит врагов!

Шамиль улыбнулся.

— Он, видать, силен? — спросил Шамиль.

— Он самый сильный мужчина на свете! Он — гази, непобедимый!

— Сильнее меня? — спросил Шамиль, не переставая улыбаться.

— Тебя? Он в два счета с тобой справится. Он всех одолеет! Никто не может его победить!

Шамиль уже не мог говорить. Слезы душили его. Он вмиг оказался в седле и пустил коня в галоп. Конь как всегда повиновался хозяину.

Шамиль почувствовал странное раздвоение: он был самим собой и в то же время кем-то другим. «Шамиль в два счета с тобой справится!» Да будет так! Пусть победит тот, другой, непобедимый Шамиль, Шамиль, одолевающий врагов! Он огрел коня плетью, чувствуя, как тот, другой Шамиль вытесняет из него дрогнувшего, засомневавшегося, и как вместе с этим удесятерятся его силы. Боль в старой ране утихла.

Он направил коня домой. Кто-то из мюридов выбежал ему навстречу, взял коня под уздцы и застремя. Шамиль соскочил с коня. Смеркалось. Он ска-

зал мюриду, что идет в мечеть. Мюрид был озадачен: в это время имам никогда не посещал божий храм.

Войдя в мечеть, Шамиль снял чувяки, расстелил на полу бурку и сел на нее, скрестив ноги. Затем заткнул уши пальцами, закрыл глаза и начал молиться, обратившись лицом на восток. Он верил в силу меча, и он верил в Аллаха. В его душе меч и Аллах соперничали друг с другом, но в конце концов пришли к согласию. Всем своим существом Шамиль прислушивался к внутреннему голосу. Перед его закрытыми глазами проходили видения. Он ждал, что скажет ему пророк о предложении наибов.

Приближалась ночь. Шамиль продолжал молиться. Рассвело, а он все не выходил из мечети. И новый день уже клонился к вечеру, но имам не появлялся. Его близкие и приближенные забеспокоились. Вся семья собралась перед мечетью: его жены, сыновья и дочери. Пришли старейшины Совета, среди них тесть и наставник имама Джемал эд-Дин. Прибежали мюриды и нукеры, т. е. слуги. Волнение достигло высокогорных аулов, стар и млад, собравшись, отправился в Ведено. Кавалькада наибов спешила перед мечетью.

А имам все молился. Волнение за пределами храма нарастало. Наибы решили было бросить жребий, кому идти в мечеть, как двери вдруг отворились. Появился имам. Толпа возликовала:

— Слава имаму! Ля иллах иль алла!

Шамиль задержался на пороге мечети. Взгляд его был неподвижен. Он пошел сквозь толпу, словно не замечая ее. Как Моисей, только что отошедший от неопалимой купины с каменными скрижалями в руках. Возгласы смолкли. Лицо имама было смертельно бледным. И как тогда Моисей, выдохнул он обжигающие как угли слова:

— Пророк повелел... сто ударов плетью... тому, кто... первым... сказал... надо заключить... с врагом... перемирие...

Имам умолк. Толпа дрогнула. Лица у всех окаменели. Наибы стояли, опустив головы. Никто не смел шелохнуться. Вдруг резкий женский голос спросил:

— Кто был первым?

И снова ужас и оцепенение овладели толпой. Кто-

то стал пробиваться сквозь окаменевшую толпу. Вперед выступила мать имама. Тихим голосом она произнесла:

— Это была я.

Страх еще больше сковал людей. Шамиль приказал мюриду Асельдеру:

— Плеть!

Толпа вскрикнула от ужаса.

— Начинай! — приказала мать имама.

Асельдер мешкал.

И тут Шамиль спустился со ступенек мечети, сорвал с плеч черкеску и молвил:

— Я — ее сын. Она — пожилая женщина. Девяносто пять ударов — мне, пять — матери. Начинай, Асельдер!

Рука мюрида с плетью не поднималась. Толпа затаила дыхание. Вдруг в рядах наибов появилась брешь. Джевад-хан закричал:

— Мы не хотим перемирия! Мы будем сражаться до последнего патрона!

К Джевад-хану присоединился Хагнар-Дибир, к нему — еще один, и еще, и еще... И вот уже все наобы с обнаженными шашками издают боевые кличи. Толпа бушует: Слава имаму! Слава нашему имаму! Гази Шамилю слава! Ля иллах иль алла!

Воодушевление толпы росло со скоростью урагана. В живое тело массы, казалось, вселился неукротимый, сумрачный бог опьянения. Страшная энергия, накопившаяся и продолжавшая накапливаться в народе, искала выхода, грозя ему гибелью.

Шамиль стоял неподвижно. Казалось, он весь пылал. Теперь и его захлестнула страсть, бушевавшая в народе. Но он подавил ее усилием могучей воли. Кровь прилила к его вискам, обжигая их.

Ряды расступились. Послышались возгласы: «Танец! Танец!» Заиграли примитивные музыкальные инструменты. Зазвучали мелодия и ритмы: сильные, свежие, резкие ритмы. Сын имама Кази-Магома и наиб Хагнар-Дибир пошли танцевать. К ним присоединились другие пары: сначала их было две-три, затем все больше и больше. Вскоре танцевали все.

Шамиль стоял как скала. Волнение все больше овладевало им. В глазах горел огонь. Вдруг искра это-

го огня попала в глаз его коню. В тот же миг человека и животное неудержимо потянуло друг к другу. Шамиль рванул к коню, взлетел в седло и был таков. Наибы помчались за ним. Джевад-хан, Сурахай, Хаджи-Али, Газив, Магомет-Эффенди, Ахверд-Магома, Анзир, Омар-Магомет, Хагнар-Дибир, Михайл, Шуайб, Хату, Эсак, а также сын Шамиля Кази-Магома — все помчались за имамом.

Но Шамиль был недосягаем. Коню, казалось, передалось состояние всадника. Впереди показался глубокий овраг. Наибы хорошо знали эту расселину. Шамиль мчался прямо на нее, намереваясь, как видно, перелететь через пропасть. Теперь всадник и конь, словно кентавр, слились в одно существо. Последовал прыжок, непостижимый, как будто в мир иной. Как вкопанные стали наибы верхом на своих конях у самого края обрыва. Кентавр, пролетев над пропастью, благополучно приземлился на той ее стороне. Оттуда на наибов глянуло страшное лицо звериного бога. И они устремились за имамом, оглашая воздух громкими криками: — Ля иллах иль алла!

Перевод с немецкого **Сергея ОКРОПИРИДЗЕ**



Колау НАДИРАДЗЕ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

НОЯБРЬСКАЯ МЕЛОДИЯ

Ноябрьский грустный свет. Над камнем плач фонтана.
К заходу посещу опавшую листву.
Сухая тень аллей. Бессильная лиана.
Ушедший аромат вдохнуть бы наяву!

И целый день одна и ничему не рада
Газель, что вам мила: глаза блестят от слез.
Я повторяю: Глан, Виктория, Эдварда!
Ах, имя бы мое ваш голос произнес!

Стоит немой рояль, как некий дух укора,
А помню, Шуберт был, молился дивный Бах.
Вы излучали свет, и в синеве простора
Высокий олеандр белел в пяти шагах.

Ноябрьская печаль... Зима ведь у порога.
А я вдыхаю тлен и в нем цветенья жду!
И вновь ваш горный тур томится одиноко,
Печалится о вас в умолкнувшем саду.

1919

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА.

АВТОПОРТРЕТ

Сонет

Я азиат, мне снится зыбь залива,
Экватор, знойный морок, львиный храп.
Возник на дюнах след тяжелых лап,
И звери ищут зарослей лениво.

Рябь золота, парчи, слоновой кости,
В ручьи из пагод идолы глядят,
Замкнули путь засовами громад
Полярные моря в холодной злости.

И, с перебитым носом от рожденья,
Плыву, пытаюсь одолеть волну,
Ношу лорнет и улиц блуд клянущу!

Когда б Творец пересмотрел творенья,
Едва ли так был сир и одинок
Стиха недрессированный щенок.

1919

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

СКРЯБИН — ЭТЮД ВТОРОЙ

Сколько раз взволнованное слово
Я кидал в ночную темноту,
Чтоб за грани бытия земного
Увести усталую мечту!

Бился я, как воробей в буряне
Бьется в освещенное окно,
Но душа обречена заране,
И бескрылой взвиться не дано.

Человек, ты плоть и сухожилья,
Что на время костью скреплены...
Ничего тебе не скажут крылья,
Бархатные крылья тишины.

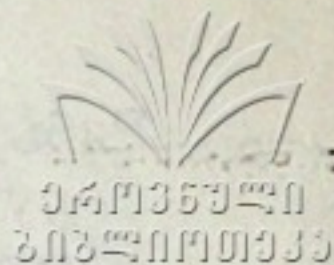
Будь цветком ты на высоком кряже,
Соком опьяненной пчелой.
Зори, вечера и ночи даже
Будут пусть равны перед тобой.

Жаворонком взвившись на рассвете,
Мрака ночи также не страшись.
Эта жизнь и бег тысячелетий
Только вздох, что улетает ввысь!

1928

Перевод Бориса БРИКА

ВЕЧЕР НА САТАПЛИИ*



Чуть слышно шелестя росистыми ветвями,
Нисходит вечер к нам с охапкой пряных трав.
Он шел, скользя с небес, алмазными путями,
Багрец и золото в лазури растеряв.

В безбурных небесах, сверкая ледниками,
Одни вершины гор горят в огне зарниц.
Безмолвно все вокруг: закрой глаза руками
И слушай трепет крыл летящих в гнезда птиц.

О мир и тишина! Здесь все покоем дышит,
Здесь жизнь сама на миг в задумчивость ушла...
Здесь поступь вечности порою сердце слышит
И чует, как из трав ползет и тишь, и мгла.

Постой пока! Рой звезд своих очей лучистых
Не раскрывал еще в лазурной вышине,
Но близок этот миг — родник прозренья чистый, —
И мудрость, и покой дарующий душе.

1932

АРМЯНСКОЙ ДЕВУШКЕ

Где ночь нашла твои глаза,
В агаты косы превратила?!
Где черных родинок роса
Лицо и губы окропила?!

Красавица, Тбилиси мой
И для тебя стал драгоценным,
В саду Исани я тобой
Любуюсь как зарей весенней!

Глаза твои открылись здесь, —
Ты выросла в небесной шири
И полюбила край наш весь,
И ритм грузинского шаири.

* Стихотворение написано на русском языке.



ՀԱՄԱՅԵՆԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Я получил от народа
волшебную лиру
И в час кончины
народу ее возвратил.
Пел я хвалу
опаленному войнами миру.
Пел я всегда,
не жалея ни сердца, ни сил.
С ясным лицом
я пред смертью предстал на рассвете.
Жизнь была песней,
быть может, не слишком простой...
Ты, что прочтешь
строки честные эти
через столетье,
грустя у могилы, постой.

Перевод Александра РАДКОВСКОГО



ПОСЛЕДНИЙ ГОЛУБОРОГОВЕЦ

(К 100-ЛЕТИЮ КОЛАУ НАДИРАДЗЕ)

Потомкам известно, что царскосельских лицейстов первого выпуска связывала крепкая дружба. Известно потому, что среди них был Пушкин, воспевший это чувство, эту братскую привязанность. В знаменитом стихотворении «19 октября» есть и такие строки:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лица
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...

Всех пережил А. М. Горчаков, ставший впоследствии министром иностранных дел и канцлером Российской империи. Но «лишним и чужим» он вряд ли стал, ведя чуть ли не до конца своей долгой жизни (1883 г.) активную дипломатическую деятельность.

В литературном ордене «Голубые роги» в свое время объединилось 13 поэтов. То ли цифра тринадцать проявила свои роковые свойства, то ли причины были иные... Совсем молодыми скончались от туберкулеза Сандро Цирекидзе и Шалва Кармели. Предчувствуя незаконную и неотвратимую кровавую расправу, застрелился из охотничьего ружья Паоло Яшвили. Без каких-либо оснований были арестованы и расстреляны Тициан Табидзе и Николо Мицишвили. Долгожителями оказались двое — Серго Клдиашвили и Колау Надирадзе. Они перешагнули через девять десятков лет. Последним, оставшимся в живых, был Колау Надирадзе. И он в глубокой старости отнюдь не был расслабленным, пассивным, «лишним и чужим».

Его юбилей — 90 лет со дня рождения — отмечали в зале театра имени Марджанишвили. Все приветствия поэт выслушивал стоя. Вставал с кресла безо всякого затруднения. На вечере отсутствовало высокое начальство, не было официальной скуки и высокопарных выступлений. Обстановка была скорее полудомашней, с трибуны шутили, и зал смеялся. Словом, это был явно непохожий на другие юбилей и, разумеется, не столько потому, что мало кому в мировой литературе удавалось отмечать свое девяностолетие, — а в грузинской, пожалуй, это был первый случай. Нет, характер вечера определялся характером главного действующего лица. А он всегда был человеком богемы, не любил официальных мероприятий и куда больше времени проводил за столом в духане или ресторане, чем за накрытым зеленым сукном столом «президиума заседания».

Не могу вспомнить, когда и где я впервые услышал имя поэта Колау Надирадзе. Ясно одно, что не в школе. Конъюнктурных стихов он почти не писал, а составители учебников зачастую именно им отдавали предпочтение. Не помню также, когда я узнал о существовавшей в грузинской литературе группе «Голубые роги». Но что название очень нравилось, помню.

Литературоведение считает эту группу символистской, причем в большей степени следующей за французским, а не русским течением этой школы. Судя по внешним признакам, так оно и есть. Грузинские поэты в стихах куда чаще вспоминают Верлена, Рембо, Малларме, Лафорга, Верхарна, чем, скажем, Брюсова, Блока или Белого. Голубороговцы увлекались апологией болезней, уродства, увядания, смерти, по их ранним произведениям бродят тени и призраки, как неизвестные, так и известные — Гамлет, Офелия, леди Макбет, Коломбина, Пьеро... Чем, как не почитанием Европы можно объяснить тот факт, что Титэ стал Тицианом, Павле — Паоло, Коля — Колау, Нико — Николо... Однако, если вникнуть поглубже, «истинного» символизма в творчестве голубороговцев, мягко говоря, маловато... Главный принцип этого направления — посредством символов выражать потусторонние идеи, «вещи в себе», находящиеся за пределами чувственного восприятия, мистические непознаваемые истины — по существу игнорировался, его, собственно, даже формально по большей части обходили. Не следует забывать, что голубороговцы — юноши-южане, которым были более близки земные удоволь-

ствия, чем отвлеченные философские рассуждения и катего-
рии.

Мне довелось как-то брать интервью у Колау Надирадзе для одной слишком официальной и в не меньшей мере скучной газеты. В записях осталось, что самыми крупными поэтами в мировой литературе он считал Гомера, Фирдоуси, Руставели, Данте и Гете. Говорил о своем знакомстве с Блоком, Бальмонтом, Брюсовым, Гумилевым, Анненским, Маяковским с гимназических времен. Рассказал, как еще до революции встретил в Москве Маяковского, который сказал, что он нынче не в моде. Самый модный поэт — Кусиков. И добавил в стихах: «В мире много вкусов и кусиков, одним нравлюсь я, другим — Кусиков» (Кусиков, точнее Кусикян, был сперва футуристом, затем — имажинистом. О нем есть статья в Краткой литературной энциклопедии 60-х годов).

После Кутаисской классической гимназии Колау Надирадзе учился в Московском университете сперва на медицинском (под влиянием отца-врача), затем юридическом факультетах. В мае 1914 года знаменитый П. Н. Милюков прочел публичную лекцию, что войны, по крайней мере, лет пять не будет, в августе она началась. Единственных сыновей тогда в армию не брали, так поэт избежал окопов, но одно время проработал корреспондентом известной газеты «Русское слово» в Варшаве.

Вернувшись на Родину, полностью связал свою судьбу с литературой.

Колау Надирадзе остался в грузинской литературе как тонкий лирик, незаурядный мастер стиха. «Детство, как ласточка, наверное, летает где-то в другом месте». «Когда на широких ресницах вечера повиснут алмазные бусинки». «Первый луч утра целует синие аджарские сады». «Золотосолнечная Абхазия...» Такие образы могут возникнуть быстро, но создавать их все равно очень трудно. Путь талантливого человека всегда нелегок.

Георгий ЧАРКВИАНИ



«КАК МЫ ПИШЕМ»

НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ АНКЕТЫ ОТВЕЧАЕТ ПИСАТЕЛЬ ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ

Подготовительный период. Длительность его.

— Есть произведения, которые долго обдумываешь, собираешь материал. Но есть такие, что являются внезапно в законченном, условно говоря, виде. Речь не только о стихах, но и о прозе. Вдохновение вообще-то находится в зависимости от профессионального художника, контролируется им. Вдохновение и есть талант, требующий заботливого, бережного отношения. Всегда надо быть готовым к встрече желанного гостя — первого образа, первой метафоры, первого аккорда — и сразу же приступать к работе.

Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями)?

— Записи я делаю. Наблюдения, естественно, необходимы. В прямом понимании автобиографический материал я не использую, но в конечном итоге автобиографический элемент, разумеется, присутствует в любом произведении любого писателя, даже если оно — исторического или фантастического жанров. Без литературного образования нет истинного писательства. Опыт второй, метафизической действительности так же нужен, как и первой, физической. Человек живет в них обеих.

Часто ли прототипами действующих лиц являются для Вас живые люди?

— Думаю, что не часто. Конкретных людей я не изображаю. В творчестве интуитивное начало играет огромную роль.

Что Вам дает первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т. д.)? Данные в этом отношении о каких-нибудь Ваших отдельных работах.

— Как-то я увидел на улице афишу аттракциона «Прогулка на пони» и затем написал повесть под таким заглавием.

Афиша сыграла роль толчка. Таким толчком порой становится оригинальная фраза, иногда мелодия. Вообще на меня огромное влияние оказывают музыка, изобразительное искусство. Между смежными искусствами нет преград. Они говорят на разных языках, но об одном и том же.

Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день — максимум?

— В молодости работал очень много — и днем, и ночью до утра. Сейчас — днем. Уже лишен возможности испытывать удовольствие от ночной работы, а оно огромное. Художник в процессе творчества всегда один, как Бог. Здесь тебе никто помочь не сможет.

Примерная производительность — в листах в месяц?

— Никогда не считал, не могу сказать. То больше, то меньше. Можно целый месяц писать восьмистрочное стихотворение, и если оно получится, это будет большая производительность труда. Ведь главное — качество, а не количество. Важно, чтобы написанное тебе нравилось. Мне очень редко нравится.

«Допинг» в процессе работы?

— Не пользуюсь.

Техника письма: карандаш, перо или пишущая машинка?

Делаете ли во время работы рисунки? Сколько раз переписываете рукопись? Много ли вычеркиваете в окончательной редакции?

— Для меня имеет значение все это, даже бумага. Пишу сперва ручкой, потом перепечатаваю на машинке. Черновик переписываю несколько раз. В окончательной редакции вычеркиваю много. Впрочем, сейчас почему-то вспомнилось высказывание Микеланджело: пишу не рукой, а головой.

Составляете ли предварительный план и как он меняется?

— Какие-то очертания существуют, но они сильно изменяются, хотя нельзя отрицать их значения. Главное в интуитивном толчке.

Что оказывается для Вас труднее: начало, конец, середина работы?

— Все этапы одинаково трудны. Писательская работа приносит мне мучения, но только ради этих мучений я и живу. В каждом художнике есть какая-то одержимость, иначе он не художник.

На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных и т. д.)?

— Не могу ответить конкретно. Никогда не думал об этом.

Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования?

— Нет. Ритм, музыкальность рождаются сами.

Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)?

— Нет. Никогда.

Какие ощущения связаны у Вас с окончанием работы?

— Охватывают пустота и огорчение, вызванные прощанием с произведением. Радости, по крайней мере, не бывает. Я люблю процесс творения, это нормальное состояние писателя. Мне всегда трудно расставаться с произведением.

Меняете ли Вы текст при последующих изданиях?

— Редко, но бывает.

Оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии?

— Оказывают хвалебные, ругательные не действуют. Хвалебная настораживает, заставляет повысить требовательность к себе.



ОПОРА — АКТИВ



Наш корреспондент встретился с бывшим главным редактором журнала «Литературная Грузия» академиком Георгием Цицишвили. Вот, что он ответил на его вопросы.

— Что Вам запомнилось более всего из той поры, когда вы работали в журнале?

— Редактором я тогда стал впервые. До этого вел научную работу в Институте грузинской литературы имени Ш. Руставели, был одним из руководителей секции критики Союза писателей Грузии. В институте возглавлял отдел взаимосвязей с за-

рубежными литературами. Мы сотрудничали не только с учеными бывших советских республик, но и с английскими, французскими, немецкими литераторами...

Главная цель «Литературной Грузии» постоянна и неизменна и, придя в редакцию, я по мере сил и возможностей служил ей — то есть пропаганде национальной литературы как внутри республики, так и за ее пределами. Такую задачу, разумеется, нельзя выполнить, если не опираться на писательский актив. Близкими журналу людьми были Ираклий Абашидзе, Бесо Жгенти, Иосиф Нонешвили, Реваз Маргиани, Колау Надирадзе, Алеко Шенгелия и многие другие. С другой стороны, мы установили тесные контакты с Николаем Тихоновым, Леонидом Леоновым, Александром Твардовским, Арсением Тарговским, Александром Межировым, Беллой Ахмадулиной... Были случаи — передашь по телефону подстрочник стихотворения, например, Тихонову, а он на следующий день

по телефону же передает перевод... Надо сказать, что число подписчиков увеличилось, тираж вырос.

Случались, правда, и неприятности с властью и имущими. Как-то мы опубликовали материалы, в которых открыто признавались большие заслуги Бориса Пастернака перед русской литературой. Меня вызвали на ковер в Москву к самому Сулову, главному идеологу страны. Однако нас поддержало руководство Союза писателей СССР и кое-кто из партийного аппарата. В конце концов мне объявили выговор. Но никаких опровержений журнал не печатал.

Меня, как главного редактора, касалась не только творческая сторона дела. Остро стояли материально-технические вопросы. Вместо двух комнат редакция получила восемь, отремонтировала их, приобрела мебель, установила лифт, сотрудникам повысили зарплату и пр. Все это потребовало затраты большого количества нервной энергии.

— **Ваш путь в литературу.**

— Литературу я люблю с детства. В юности писал стихи, делал какие-то записи. Ничего, конечно, не публиковал. На войне накопилась масса впечатлений. Стал писать новеллы и публиковать их в журнале «Мнатоби». Потом они вошли в книгу «Любовь поры кровавых дождей». Эти новеллы объединяет главный герой — Хведурели. Затем, в 60-е годы вышла вторая моя книга — «Одолей жадность свою». Но чаще я выступал как критик. Пристально слежу за литературным процессом. И как ученый занимаюсь новейшей грузинской литературой.

— **Вы были кадровым офицером. Несколько слов об этом.**

— Я учился на четвертом курсе Тбилисского университета, когда началась война. Она началась 22 июня, а 24 числа я уже одел военную форму. Отдельных призывников отправили сперва в Телавское минометное училище, но его сразу же реорганизовали в артиллерийское и перевели в Баку. Там мы и проходили обучение, весьма интенсивно, в течение шести месяцев, а в январе 1942 года я уже участвовал в боях за Москву под Гжатском. Был командиром взвода, потом батареи, заместителем командира бронепоезда, начальником штаба полка, и. о. комполка. Был два раза ранен. Войну закончил в звании майора в Прибалтике и остался в армии. Служил в штабах Ленинградского и Закавказского военных округов. А затем уже — в Генеральном штабе Вооруженных сил под руководством генералов С. Штеменко, М. Неделина... В 1948 году ушел в запас.

Ныне, кроме научно-организационной работы, веду и дру-
гую, можно сказать, военно-общественную. Недавно меня на-
значили председателем Государственного департамента вете-
ранов. Генералы и офицеры — участники войн, бывшие ра-
ботники оборонных заводов, — вот наши основные подопеч-
ные. Кроме того, члены семей погибших на фронтах. Речь
идет и о второй мировой войне и о других тоже.

Думаю, департамент сможет выполнить поставленные пе-
ред ним благородные задачи.

Беседу записал **Георгий ЧАРКВИАНИ**



Тамаз ХМАЛАДЗЕ

СНЕГОПАД

За окном кружатся крупные, с бабочкино крыло снежинки. Вокруг белым-бело, все сверкает чистотой, деревья — в белых уборах. До неба — рукой подать, оно здесь же, над деревьями. Что там выше, неизвестно, да тебе это и не интересно, как будто и твоя любознательность погребена под снегом, нет желания даже выглянуть наружу. Вообще нет никаких желаний — снег подавил собою все. Порой ветер крепчает, сметает с земли снег, поднимает его столбом, мешая свободному падению снежинок. В такие минуты из-за печной дверцы вырываются клубы дыма, приносящие с собой сладковато-горький запах акации. И все это смешивается с царящими в комнате теплом и истомой.

На старинной покрытой полосатым паласом деревянной тахте лежит парень лет семнадцати-восемнадцати. Он курит, сбрасывая пепел в пустую коробку от сигарет. У печи, на овечьей шкуре, облокотившись о подушку, сидит мужчина. Его черные волосы тронуты сединой, он то и дело зевает. Тепло разморило обоих, и парня, и мужчину. У них отрешенные, ничего не выражающие лица. Они как будто забыли друг о друге, погруженные каждый в свои мысли.

Первым очнулся парень:

— Ты смотри, как сыплет! — раздавив окурок

сигареты в коробке, он приподнялся на тахте и вы-
глянул в окно.

— Да, Бог шлет нам манну, — кисло улыбнулся
мужчина и переменял локоть.

— Хорошо, я утром крышу вымел.

— Ага! — зевнул мужчина.

Подул ветер, из печи вырвался дым и у мужчины
снова заслезились глаза.

— Хотел бы я знать, кто тебя просил чистить
крышу, лучше бы эту проклятую трубу развернул,
видишь ведь, ветер с Дагестана дует, — недовольно
проворчал мужчина.

— Чего ж ты не сказал...

— До каких пор мне поучать тебя, пора уж и са-
мому соображать. Что нам теперь задыхаться здесь,
как лисицам в норе?

Парень встал, накинул пиджак и пошел к две-
ри.

— Нет, вы только посмотрите на него, в такой
холод и без шапки!

— Обойдусь...

— Эй, хоть пальто надень!

Парень не ответил и, нахмурившись, вышел из
комнаты.

Спустя некоторое время появилась женщина сре-
дних лет. Стряхнув с платка снег, она обратилась к
мужчине:

— Китес сказал, что могила твоей матери прова-
лилась, стыд-то какой, сходил бы, что ли, взглянул.

Тут в комнату возвратился парень и вопроситель-
но уставился на женщину.

— Провалилась? Когда? — мужчина поднял го-
лову и бросил взгляд на фото женщины в старинном
головном уборе, висящее на противоположной стене.

— Может, Китес ошибся, как он умудрился в
этот снегопад определить, какая могила — моей ма-
тери.

— Экий ты, право! Он во вторник видел, до сне-
гопада. Хотел, говорит, сразу сообщить, да каждый
раз что-то мешало, не смог время улучшить.

— Как же, лень-матушка, небось, заела, будь
он неладен, не мог тут же припереться, времени, по-

нимаешь, не нашел, живет за тридевять земель, — мужчина не спеша поднялся и, обратившись к парню, сказал: — Пошли, взглянем, что там можно сделать. Женщина подбросила в печку дров и села рядом.

Оба были в сапогах, неслышно шли по снегу. Парень нес лопату на плече и заступ — в другой руке. Погост был мал, кое-где виднелись недорогие надгробья. Верхушки крестов резко выделялись на фоне снега. У самого кладбища стояла избушка сторожа, а может, могильщика. Из каминной трубы клубами вырывался дым, наверное, в избе жгли резину.

Мужчина с парнем повернули в нужную сторону и стали искать могилу.

— К чему все это — что мертвому припарки. Что мы ищем, что потеряли, спрашивается! В этом проклятом снегу разве что найдешь, — со злостью произнес мужчина. — А ну, поди сюда, кажется, это здесь.

Парень воткнул в снег заступ и стал расчищать лопатой указанное место. Расчистил довольно большое пространство, но ничего похожего на могилу там не оказалось.

— Порядочная скотина этот Китес, поленился вовремя рот открыть, — в сердцах плюнул мужчина.

— Чего ты прицепился к Китесу, чего от него требуешь, он-то как раз смотрит за могилой своей матери.

— Еще бы не смотреть, какие у него другие дела, все дни и ночи торчит на кладбище.

— Ладно уж, вспомни хотя бы, в изголовье ставили мы что-нибудь? — дохнул на замерзшие пальцы парень.

— Нет, все руки не дошли... думал, к весне что-нибудь сделаю, но... Давай-ка, проверь здесь, земля должна быть осевшей, может, хоть так найдем.

Под снегом кое-где зеленели остатки травы, и эта зелень на фоне белизны согрела было их надеждой.

— Здесь тоже нет, — парень закурил, опершись о лопату, затаился и, выдохнув дым, сказал: — Эх, кто знает, сколько под этим снегом беспризорных могил, забытых и Господом, и человеком, у которых даже креста нет в изголовье.

— Эх-хе-хе, — насмешливо усмехаясь, произнес мужчина, — думаешь, не понимаю, в чей огород, как мешки? Поверь мне, не имеет никакого значения, какую могилу тебе выроют и в какой гроб положат. Да поставь тебе золотой памятник, ты никогда не узнаешь об этом. Главное, уважать и радовать друг друга при жизни, при жизни служить утешением друг другу. Когда же нас не станет, сколько ни старайся, мы ничего не услышим, до нас не докричишься. К тому же любая могила, рано или поздно, обычно разрушается, будь она с надгробьем или без него. — Мужчина взял заступ.—Пошли, не будет же этот снег лежать вечно. Растает, тогда и подправим.

Они шли, и снег одевал их в белое. Оба старались идти по своим же следам, порой это удавалось, порой — нет.

«Смотри, какую философию развел?! Еще и года нет, как мать похоронил, а уже могилы отыскать не может, да еще и оправдывает себя, словно все это в порядке вещей... Ох, ну и холодрыга, а этот снег проклятый не унимается, как назло». Вот такие мысли одолевали оставшего парня.

Из избушки могильщика вышел человек и стал под навесом.

— Привет, Китес, — поздоровался с ним мужчина. Молодой лишь молча кивнул головой.

— Дай вам Бог здоровья. Зачем тащились сюда в такой снег и непогоду? Разве нельзя было подправить потом? Могила ведь не убежит.

— Эх, не знаю, не знаю, — невесело отозвался мужчина.

«Нет, — думал парень, — уважение при жизни это еще не все. Если со смертью человека все исчезает, если после нее ничего не остается, тогда и жизнь теряет свой смысл и цену. Нет, так нельзя».

Потом рассердился на себя:

«Интересно, кого ты обвиняешь и попрекаешь? Можно подумать, маленький, не смог даже простой камень положить в изголовье, обыкновенный валун. Разве бабушка не вырастила тебя и не заслужила большего?»

Отец с сыном исчезли за пеленой снега.

Под навесом у могильщика щебетали промерзшие воробьи.

Ветер постепенно стихал.

Снежинки медленно, словно бабочки, опускались на заснеженные кусты.

ПОКА МЫ МОЛОДЫ

I

Летний день медленно близился к концу. Солнце уже закатилось за сероватые здания, но жара и не думала покидать раскаленный город. Мало кто из тбилисцев мог вспомнить такой жаркий июль. Город как будто полыхал, сгорал, и спасения не было ниоткуда. Небольшой сквер у дороги пустовал. И на улице прохожие были редкостью, появившись, они быстро исчезали куда-то. До сумерек люди предпочитали оставаться в домах.

Губаз сидел под старой липой на длинной зеленой скамье. Вернее, не сидел, а небрежно развалился на ней. Он отупел вконец от жары, нижняя губа у него отвисла, как у старого мерина, а темно-зеленые глаза с опухшими веками равнодушно смотрели на Зуру и Гиви, стоящих там же у дерева и до сих пор не решивших, присоединиться им к Губазу или уйти. Липа едва шевелила пыльными листьями. Но под ней все же была хоть какая-то прохлада, а они не решались отказаться от нее.

— Вчера вы пили одни? — спросил Гиви.

Губаз молча кивнул головой.

«А мы всегда одни», — подумал Зура.

— Ничего другого, кроме водки, в эту жару не нашли?

— Э-э, — махнул рукой Губаз и так вяло зевнул, словно сделал кому-то одолжение.

— И много выпили?

— От души!

Гиви подошел и сел рядом с Губазом. Зура, прислонившись к липе, вертел в руке погасшую сигарету, уставившись куда-то вдаль. Одуревший то ли от жа-

ры, то ли от вчерашней водки мозг был не способен к работе, если не считать нескольких картин, возникших в памяти и лениво сменявших друг друга, которые никак не могли оформиться в слова. Это скорее напоминало инерцию сознания, нежели мышление.

— Натя действительно выходит замуж? — на этот раз Гиви обратился к Зура.

— Да, — опередил того Губаз, — в будущую субботу расписываются.

Вопрос оказался неожиданным, пожалуй, даже неуместным. Зура напрягся всем телом, резко повернулся и, прищурившись, взглянул на Гиви.

«Разве он только что узнал? Разве для него это новость?»

Швырнув погасшую сигарету, сказал:

— В июне они вместе ездили за границу, вернулись и...

Ребята замолчали. Зура закурил новую сигарету.

— Ведь ты и Гига были закадычными друзьями, как он мог так с тобой поступить?

«Он хочет свести меня с ума! Он всегда такой. Думает, если раз сошло с рук, то так будет и впредь. Говорит о Гиге, будто сам святой. А не двинуть ли ему разок?.. Нет, не стоит, я же и буду виноватым».

Зура оглядел его с головы до ног. Широко разлегшись на скамье, Гиви смотрел на противоположную сторону улицы. Вдоль нее проползла поливочная машина.

«А может, все-таки намять ему бока?»

— Поди сюда, сядь! — в голосе Губаза слышалось предупреждение.

Зура сел.

Если вам хочется выпить хорошего пива, надо идти на набережную к коротышке Шакро. Сыр гуда, тархун и горячий лаваш не переводились у него все лето. За два, два с половиной рубля этот ловкач мог раздобыть даже свежую шамаю.

— Принесу еще, — встал Губаз.

— Жарко, может, не стоит? — как бы между прочим спросил Зура.

«Хотя бы один вентилятор установили, деньги грести — это они умеют!»

Губаз подошел к продавцу.

— Дядя Шакро, еще одну.

— Чего убиваетесь, ослы, не успеете, что ли, завтра тоже будет день... Выпили по бутылке и хватит, чешите отсюда, пока живы и на ногах держитесь.

— Давай, давай, пусть где тонко, там и рвется...

— усмехнулся Губаз.

— Сегодня нам море по колено, — откликнулся Зура, — вот завтрашнее похмелье — точно уж хуже смерти.

— Смотрите, ведите себя с умом, — продавец протянул бутылку водки.

Пили молча, беседа не клеилась, разве что произносили короткие тосты. Водка для них потеряла вкус, стала какой-то водянистой. Они бездумно вливали ее в себя. Уже и пивом не запивали, оно стало теплым, а взять новое ленились. Остаться здесь было глупо, бессмысленно, но делать им все равно было нечего, сидеть где-то нужно было, а какая разница где?

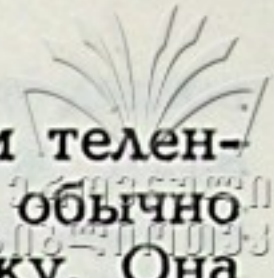
— Все еще переживаешь? Не переварил?

Зура с улыбкой пожал плечами, отрицательно покачал головой.

— Не стоит, теперь уж ничего не поделаешь...

Зура и на этот раз не произнес ни слова. Да, изменить ничего не изменишь, но вся беда в том, что его болью была не только Натия. Что он мог поделать с чувством одиночества, которое владело им постоянно — и до встречи с Натией, и после расставания с ней, и дома, и вне его, и в компании, и когда он оставался один, — оно глодало, изнутри снедало его. В другое время он рассказал бы об этом Губазу, но сейчас, в эту жару, все теряло смысл. К тому же неизвестно, смог бы он, такой пьяный, понять его.

— К нашему застолью это не имеет отношения, но вспомнилась мне одна история, — Губаз уставился в пустой стакан. — Когда я был ребенком, в нашем селе почти в каждой семье водилась скотина, и у нас корова была. Звали ее Тебела. Небольшая такая, хевсурской породы, прокормить ее не стоило труда. Молока давала мало, зато жирное, как сливки. Я был очень привязан к ней, всему на свете предпочитал ее общество. Тебела отвечала мне взаимно-



стью, не делая различия между мной и своим теленком... — он усмехнулся, — и я, как теленок, обычно устраивался под ней и прикладывался к соску. Она принимала это как должное, кто знает, может и впрямь считала меня своим детенышем, который все никак не вырастет, не станет на ноги. Когда же она вылизывала теленка, шерсть у него курчавилась так красиво, что я ужасно завидовал ему и старался дать ей облизать и себя, чтобы тоже быть красивым. Тебела не ленилась, облизывала и меня своим шершавым, как напильник, языком, но, как видите, ничего не смогла поделать с моим чубом, бедняжка, — попробовал пошутить Губаз. Зура засмеялся для приличия, впрочем, лучше бы он не смеялся, такой кислый получился смешок.

Губаз замолчал, разлил по стаканам водку.

— Я хочу выпить за Тебелу. Вечная ей память. Пока жив я, жива и она.

«Ну, дает, видать, уже готов».

Зура молча выпил.

— А тебе не интересно, что было потом? — Губаз взглянул на него широко раскрытыми, выцветшими от водки глазами.

— Не знаю, но продолжай, чего ты замолчал...

— Так вот, друг мой, со временем Тебела постарела и стала давать все меньше молока. А затем и быка к себе не подпустила, а нам молоко нужно было. Впрочем, мы во многом нуждались, но молоко тогда казалось самым необходимым. Кто знает, может это действительно так и было... Короче, пришла пора покупать новую корову, а бесплатно ее никто бы не дал. Оставался единственный выход — зарезать Тебелу!

— Зачем же было резать, продали бы.

— Э, брат, кому нужна старая, ни на что не годная корова, да ее задаром бы никто не взял. Делать нечего, повели мы с отцом ее на бойню. Почти четырнадцать лет прошло с тех пор, а все помню, как будто вчера было. — Подождите здесь, во дворе, — сказал нам какой-то мужчина в белом халате, — там забивают скотину, не стоит ей смотреть на это. Наверное, он был новичок в своем деле, потому как такой сердобольный на бойне долго не задержится. Я

вошел в здание — интересно посмотреть, как забивают животное, мне было чуть больше десяти лет, и, сам понимаешь, в этом возрасте любознательность превыше всего. Приземистый упитанный живодед так умело оглоушил обухом топора огромного серого быка, что тот как подкошенный рухнул на скользкий пол. Затем не спеша перерезал ему глотку. Настал черед Тебелы. Сердце мое обливалось кровью, но я считал себя мужчиной и старался не подать виду. Я пошел за ней во двор. Она покорно последовала за мной, но в какой-то миг, учуяв запах крови, остановилась, тихо замычала, видимо, что-то поняла, но все же доверилась нам с отцом. Когда живодед с топором в руках направился к Тебеле, отец дрогнул, — «ты ведь и один справишься», — спросил и взглянул на меня так жалобно, что я, не раздумывая, кивнул головой. Никогда больше я не видел таких жалостливых глаз.

Губаз замолчал.

Зуре не хотелось больше слушать эту сентиментальную историю. Ему бы со своей болью, со своим горем справиться — где ему до чужой.

«Надоед со своей коровой! Если так жалели ее, какого черта убивали, никто ведь не заставлял. А тосты и сожаление ее не воскресят».

Зуре надоела бестолковая болтовня пьяного собутыльника.

— Вот такой же жалостливый взгляд сейчас у тебя, — сказал вдруг Губаз.

— Ну ты даешь, при чем тут я, — удивился Зура.

— В этом-то все дело... Трудно понять, где кончается одно и начинается другое, да и поймешь ли вообще? — и вдруг взорвался: — Ты страдаешь! — он зло стукнул кулаком по столу. — Дурак, потому и страдаешь. Было бы из-за чего. Если она не смогла оценить тебя, то и черт с ней! Ты мне как брат, твоя боль это и моя боль, понимаешь, поэтому я столько болтаю, но тебе этого еще не понять... — он был сильно пьян. Не стоило им брать третью бутылку.

— Эй, вы, чего шумите? — крикнул продавец.

Они не обратили на него внимания.

— У моего отца глаза тоже были голубые, — тихо, уже про себя проговорил Губаз.

Нет, определенно не стоило брать третью бутылку.

— Нехорошо все это, — Гиви никак не мог успокоиться, — друзья не должны так поступать.

— Слушай, ты что вчера родился, и не такое случилось, — вышел из себя Губаз.

— Да, но не между друзьями же?

— От подлости никто не застрахован...

— Да что с вами, ребята, других тем для разговора нет? — с притворной беззаботностью поинтересовался Зура. Затем сам же перевел разговор на другое:

— Может, сходим куда-нибудь? Стало прохладнее.

— Куда, например?

— Не знаю, давайте придумаем.

— Поднимемся к Резо, у него найдется что выпить, — сказал Губаз.

— Пошли, на худой конец хоть в шахматы сразимся.

— Тогда поспешим, пока он не смылся из дому.

Они вышли из сада и направились вниз по улице. Все трое были высокими, стройными, и шли они так, что невольно приковывали взгляды прохожих.

Стало прохладнее. Людской поток постепенно заполнял широкие тротуары. Почти безлюдная не так давно улица оживала на глазах. Ветерок пробежал между ветвей платана. Обессиленный от жары город, облегченно вздохнув, стал приходить в себя.

— Я уезжаю в Сибирь, — неожиданно сказал Зура.

— Что ты там потерял? — удивился Губаз.

— Работу.

— А я думал, ты говоришь серьезно.

— Вполне серьезно, через несколько дней уезжаю.

— Слушай, бросай ты эту романтику, Сибирь и без тебя осваивается.

— Губаз, ты что не знал, что оттуда письмо пришло, мол, срочно шлите Зуру на помощь, иначе наше дело — труба, — засмеялся Гиви.

— Что тут смешного? До каких пор я буду слоняться так, без дела, вам самим разве не надоело это бессмысленное, однообразное существование? Или

вы считаете, что жизнь в том и состоит, чтобы думать, где достать выпивку сегодня и чем опохмелиться завтра? Да, Сибирь осваивают и без меня! Как раз это мне и не по душе, почему жизнь должна проходить мимо тебя, мимо меня, почему? Мы что, умерли? Нас больше нет?

Он поздно сообразил, что кричит, и прохожие подозрительно оглядываются на него. Он умолк, хотя в данный момент ему было все равно, что подумают прохожие.

— Откуда такие речи? — Гиви, как видно, был расположен паясничать. — Прямо передовая из газеты.

— Клянусь матерью, ребята, — уже с безнадежностью в голосе произнес Зура, если б не эта безнадежность, разве поклялся бы он матерью. — Иногда по утрам такая тоска берет, так хочется и мне куда-то спешить, чтоб и меня ждало мое дело... Что за черт, хоть бы специальность какую иметь, слесаря или токаря...

— Ладно, но в Сибири-то что тебе нужно, неужели здесь для тебя дела не найдется? Собака в доме не сгодилась, а на охоту все просилась. Это, вроде, про тебя.

— Гиви, дело ведь не в этом...

— Ладно, хватит, прекрасно знаю, в чем дело, ты бежишь туда не ради работы, если, разумеется, правда собираешься ехать.

— А зачем, по-твоему? — внезапно повернулся к нему Зура.

Гиви молча пожал плечами.

— Зура, а ты не подумал, что Сибирь не для тебя? — вступил в разговор Губаз.

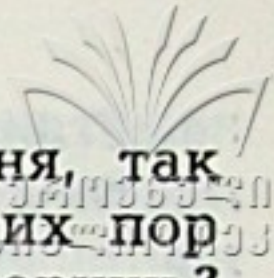
— Почему это?

— А вот когда ты попадешь туда, тогда и поймешь. Отсюда все выглядит иначе. Романтика хороша со стороны... Тяжело тебе придется, тяжело.

«Кто меня за язык дергал, лучше бы я молчал».

У него пропало желание говорить, но он все же продолжил:

— Плохо же вы меня знаете. Сибирь для меня вовсе не романтика. Там работы невпроворот и надо ее делать. Тебе-то что, Губаз, тебе легко, пришел до-



мой, сел, сделал свое дело и все. Не сегодня, так завтра доделаешь... А мне что делать? До каких пор смотреть в чужие руки? Тяжело придется, говоришь? Прекрасно, именно это мне и нужно. Именно этого мне и хочется, хочу понять, на что гожусь. Мужик я или нет, в конце концов.

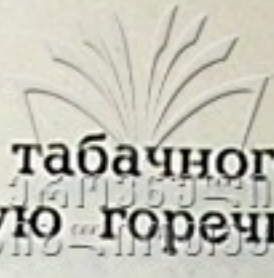
— Ладно, ладно. Не злись, — успокоил его Губаз. Гиви через силу расхохотался:

— Наверняка, сегодня утром, с похмелья, ты пробежал глазами какую-то передовицу, — потом повернулся к Губазу. — Убить тебя мало, чем ты его напоил вчера, что он растерял все мозги.

II

Зура в тамбуре курил сигарету, прислушиваясь к равномерному перестуку колес. Та-ра-та-там, та-ра-та-там, та-ра-та-там. Колеса монотонно повторяли надоевшую мелодию. Налитое кровью солнце красным шаром висело над выцветшим горизонтом. Уже два дня, как поезд безуспешно боролся с коричневой степью, два дня, как ничто не нарушало однообразной скуки, и Зура вспомнились давно забытые строки: «В третий раз мы пришли в то же место, куда вчера я попал стрелой», хотя «пришли» в данном случае не подходило, множественное число было ни при чем. Зура в отличие от героя этого стихотворения, которому вместе с братьями предстоял трудный путь, был один, одиночество не отпускало его, снедало...

Он выбросил окурок, открыл вагонную дверь и выглянул. Вдали показалась черная точка. Она постепенно росла и превратилась в будку стрелочника. Глаза, уставшие от однообразного унылого пейзажа, уцепились за нее как за спасительное средство. Будка была небольшая, пестрая, кто-то написал на ней крупными белыми буквами — Счастливого пути! Перед будкой стояла девочка и махала рукой пассажирам, а, быть может, просто поезду. Зура, высунувшись из двери, махнул платком в ответ. Он махал так ожесточенно, словно ему поручили это, действительно попросили и от его платка зависела чья-то жизнь. Он продолжал неосознанно махать рукой и с опозданием



заметил, что и будка и девочка исчезли в табачного цвета дымке. Он почувствовал беспричинную горечь, выпрямился и вернулся в вагон.

Солнце больше не висело над горизонтом. Поезд боролся одновременно с пространством и надвигающейся темнотой. Зура лежал и думал о девочке, которая никогда не покидала будки стрелочника, никогда не видела ломившихся под тяжестью плодов деревьев, никогда не поражалась величию уходящих в небо зданий. Но она знала, что где-то есть море и большие города, густые, застывшие в синей тишине лесá и высокие, величавые, белоснежные горы. Девочка сама выдумала их, и поэтому они были много прекраснее и привлекательнее настоящих, хотя настоящие отличала иная красота. Она допоздна читала книги и, ложась спать, отчетливо слышала в темноте, как тяжело вздыхает лес под порывами сильного ветра. А сколько раз она побывала на самых высоких вершинах, обзревала оттуда весь мир, сколько раз бороздила моря на больших гудящих кораблях, резвилась с веселыми дельфинами, наслаждалась видом ослепительно белых чаек. Ей снились шумные города, сверкающие яркими рекламными огнями, жившие иной неведомой жизнью. Эта жизнь с непонятной силой влекла ее к себе, притягивала словно магнит. А днем девочка стояла и махала поездам. Поезда спешили к красивым городам, виденным ею во сне.

Той ночью Зуре приснился сон: он принес девочке огромные красные шары, потом взял ее за руку, и они отправились в какой-то большой город.

III

Степь была похожа на выцветшую солдатскую шинель. Неизвестно откуда примчавшийся ветер набрасывался на двойные окна, а потом налетал на крышу дома. Медленно надвигались на степь сумерки.

Комната была наполнена мыслями. Мысли цеплялись за голые стены, сталкивались друг с другом, в поисках выхода смешивались с табачным дымом и развеивались ветром, теряясь в безбрежности. Зура стоял

у окна, вглядывался в даль за степью и далекими горными грядками. Оконное стекло напоминало киноэкран — шел старый фильм, много раз виденный, но очень любимый.

— Зурико, родной мой, как чувствуешь себя, сынок?

— Нормально, мама, за меня не беспокойся.

— Не стоило ехать так далеко, мне даже мысленно трудно дотянуться до тебя.

Затем появились глаза — во весь экран две черные ночи, какие обычно бывают осенью в горах Грузии.

В соседней комнате хозяйский сын безбожно терзал гитару. Гитара стонала, и Зуре казалось, что не струны, а его натянутые нервы перебирают неумелые руки.

Уйду совсем, такой закон,

Третий должен уйти... —

напевали за стеной, и Зуру душили слезы одиночества. Печаль, идущая из сердца, подступала к глазам, но он упрямо загонял ее внутрь...

Степь постепенно теряла цвет выцветшей солдатской шинели.

Был субботний вечер, и где-то далеко, в Грузии, играли свадьбу.

Песчаный ветер бесчинствовал подобно монгольским завоевателям.

Комната тонула в воспоминаниях.

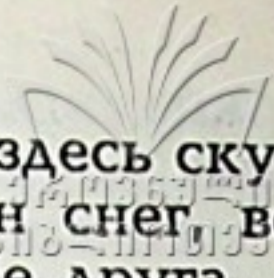
IV

С окраины села доносилась песня, доярки возвращались с фермы.

В темноте стога сена выглядели как-то необычно. Под крайним стогом лежали парень с девушкой. Свежескошенная трава еще не утратила терпкого запаха полевых цветов. Парень смотрел в небо. Звезды дрожали от холода над огромной, с небо, степью.

«Интересно, где прячутся вороны в ветреную погоду?» Парень не мог избавиться от этой навязчивой мысли и злился на себя.

Девушка медленно повернулась к парню и тихо, печально сказала:



— Очень скоро наступит зима. А зимы здесь скучные, тоскливые. Выглянешь — кругом один снег, все пути-дороги, которые могут привести к тебе друга, — в снегу... А небо так низко, совсем низко, почти на крыше дома и душит, душит тебя...

— Ну и что! — беспричинно взрывается парень. — Ну и что! Зима везде одинакова, и всюду приносит уныние!

За столом сидели степенные черноусые крестьяне. Они пили вино, и вино это было солнечной кровью, в нем жило лето с его страстным жарким зноем и радостью, а смуглые мужики пели о зиме:

Зима пришла,
Зима заставит вянуть розу,
Лепестки с нее опадут...

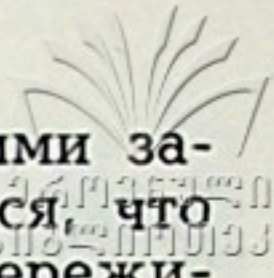
Постепенно вместе с вином в тело вливалось ощущение счастья. Солнце изнутри освещало утомленные крестьянские лица. Пели трудолюбивые мужики, заканчивали одну, начинали другую, им хотелось петь и они пели...

Еще долго пели бы...

— Ну и что! — беззвучно вскричал парень. — Я все равно выдержу! Выдержу! Теперь же ты веришь мне, Губаз!

Вспомнилось, как поднимал он на строительные леса огромные камни, как, голый по пояс, стоял под палящим солнцем в ожидании приказа старшего каменщика, как, повязав голову носовым платком, грузил на самосвал горячий цемент, точно мельник, весь белый от пыли. Он и сам не понимал, почему вспомнил об этом именно сейчас, но вспомнил как раз вовремя. Это воспоминание успокоило его, принесло облегчение.

Интуиция подсказала девушке, что спорить с парнем сейчас бессмысленно. Не сказав ни слова, она медленно подняла руку и погладила его по голове. Пальцы, подрагивая, перебирали мягкие каштановые волосы, и даже в этом легком прикосновении чувствовалась какая-то затаенная печаль. У парня сжалось



сердце от жалости, он как бы проникся чужими заботами, и ему понравилось это. Он обрадовался, что больше не одинок. Если тебе есть за кого переживать, значит ты уже не один...

— Но зима же не длится вечно, ей на смену приходит весна. Поэтому не надо грустить и предаваться тоске с каждым приходом зимы. Тем более, что до зимы еще далеко, почти вся жизнь впереди...

Над степью стояла спокойная, ясная ночь. Село постепенно погружалось в сон. Попритихли даже кузнечики.

Парень встал, зашел за стог и прикурил сигарету. Потом взглянул на небо, нашел Большую Медведицу. Почувствовал прикосновение руки на плече, но не повернулся.

Парень вглядывался сейчас в даль, очень далекую даль, за грань темного горизонта.

УХЭЛАВИ

Посвящается моим друзьям

Стоял серый пасмурный осенний день. Они уже прошли большую часть пути и теперь приступили к спуску. Хотя мужчине не терпелось добраться до цели, он почему-то не спешил. Медленно, устало брел он на запад, и обессилевшее вроде него солнце, как чудом сохранившаяся драгоценность, следовало за ним. Еще немного — и этот день минует, исчезнет навеки, безвозвратно затеряется, но где? — этого-то никто и не знает и, несмотря на самоотверженные усилия уважаемых ученых, на множество толстенных книг и умнейшие компьютеры, к сожалению, вряд ли когда-либо узнает. А на завтра, хвала Господу, вновь рассветет, только что народившийся день широко распахнет глаза, но ничего вчерашнего уже не увидит — ни солнца, ни неба, ни земли, ни, тем более, человека. Все состарится на один день, износится, еще на один день приблизится к ненавистному концу, — и это солнце, и это небо, и эта земля, и тем более человек.



В горах стояла тишина. Горы любят тишину в октябре...

Тропа то спускалась вниз к реке, ныряла под воду и оказывалась на другом берегу, то бежала вверх и опасно нависала над краем ущелья. Ущелье было узкое, темное, далеко наверху запертое высокой вершиной. Оставалось пройти это ущелье, потом повернуть направо, пересечь еще одну гряду, с которой открывался вид на шоссейную дорогу.

Все вокруг было красиво — ничего не выделить, ничему не отдать предпочтения, за исключением возвышающейся в начале ущелья горы, которая завораживала своим хмурым, вернее, суровым, каким-то мужским достоинством.

— Киазо, как называется та гора? — спросила женщина.


Мужчина остановился, вместо горы почему-то взглянул на небо и, вздохнув, произнес:

— Ухэлави. Не останавливайся, пошли!

Небо окаймляли горные пики — оно выглядело маленьким, бледным.

Мужчине было где-то за сорок. Над рюкзаком поднималась прямая сильная шея и круглый затылок с пробивающейся сединой. Женщина наверняка была младше лет на десять, а может и больше. Когда тропа позволяла и они шли рядом, то, несмотря на разницу в возрасте, очень хорошо смотрелись. Мужчина не отрывал глаз от тропы, выбирая короткий и сравнительно легкий путь, чтобы тратить меньше сил и энергии. Лишь однажды свернул он с тропы, чтобы сорвать несколько бледных, трогательно нежных цветков, неизвестно как сохранившихся до середины осени, и со слабой, почти стыдливой улыбкой протянул их женщине, при этом даже не взглянув на нее, затем быстро повернулся и пошел вверх по дороге. Он спешил, шел уже третий день пути, и если они сегодня не выйдут к шоссейной дороге, ему уже будет безразлично, выйдут они к ней когда-нибудь или нет.

Его с детства влекли к себе горы. Почему? — он этого не знал. Возможно, виной тому был ген его предка, который некогда по своей воле или вынужденно вместе с людской волной спустился с гор и



поселился на равнине. Кто знает! А, может быть, недовольный своим бытом, существующей реальностью, он искал здесь, пытался найти иную, отличную от этой реальности жизнь. И этого никто не мог знать. Но только еще в юности исходил он почти все селения в южных ущельях Кавкасионии. Здесь действительно все было иным, жило другой жизнью, ничем не похожей на жизнь в городе, но еще более удивительным было резкое отличие их друг от друга, каждый раз, казалось, ты попадал в какой-то совершенно иной, далекий от Земли мир. А ведь это тоже была Грузия, родная земля.

И в этих местах он побывал в свое время вместе с друзьями, будучи мальчишкой, полным сил, — дорога не заняла и полтора дня — собралась целая компания, за общим хохотом и весельем они даже не заметили, как прошли это ущелье. В тот год стояло горячее, засушливое лето, вспотевшие, почерневшие от грязи спустились они к шоссейной дороге.

— Слава тебе, Господи, наконец-то это шоссе показалось... Нет, брат, кто сюда сунется, должен или забыть о всякой еде или же основать здесь что-то вроде шерпского поселения. А то эти кастрюли и горшки душу из меня вынули, — смеялся кто-то из оставших.

— Все бы ничего, но грязь меня доконала. Вот приеду в Тбилиси, лягу в ванну и буду отмывать, даже трактором меня не вытащишь, — откликнулся высокий, бородатый парень, который помогал тоненькой голубоглазой девушке спускаться по отлогому склону.

Киазо вздрогнул, слова парня больно кольнули его. Будь он тактичным человеком, он не стал бы упоминать о ванне, подумалось ему, и вдруг отвращение ко всему охватило его — и к горам, и равнинам, к тому парню и к самому себе и даже к той голубоглазой девушке. Почему? Что его так разозлило? Упоминание о ванне? Разве только ванны не хватало в его доме, доставшемся от родных? И если до сих пор он был равнодушен к собственной бедности, почему же сейчас эта простодушная безадресная фраза так неприятно поразила его? Может быть, виной тому была эта девушка, похожая на василек, или окружав-

шие их горы? Или просто пришло время по-иному думать и оценивать свою жизнь, время иных потребностей? Киазо не нашел ответа на эти вопросы. Позднее он уверился — чему быть, того не миновать, но если бы тогда именно в этом благодатном краю он не решил для себя: и я буду жить, как другие, и я позабочусь о своем жилище, как заботятся другие, — его жизнь сложилась бы иначе.

Прошли годы. Завертелось колесо судьбы и закружило Киазо. Ему уже было не до гор — появились иные цели, иные мысли, иные заботы. И он не чувствовал, с какой быстротой летят годы...

Однако появление Тины побудило его вернуться сюда.

На этот раз за день они одолели лишь равнину, и когда в начале ущелья она попросила его: давай отдохнем, а завтра продолжим путь, он с удовольствием согласился. Хотя прекрасно понимал, что ставить палатку так рано — большая ошибка, и старался отогнать от себя эту мысль, даже себе не признавался, что пожелай он идти дальше — все равно бы не смог. Горы не любят льстить, они открыто и откровенно, как в зеркале, покажут тебе, кто ты и на что способен. Им не интересно, кем ты был раньше. Тогда он подумал впервые: в октябре дни короткие, и в горы идти не стоило. Однако выбирать не приходилось. Если не успеть в этом году — то в будущем его поход в горы был весьма сомнителен.

Смеркалось, еще легко было отличить предмет от его же тени. Далеко, очень далеко, в начале ущелья, возвышалась высокая вершина, с головой погружившаяся в туман. Цвет тумана плавно переходил в цвет неба, трудно было понять, где кончался туман и начиналось небо, поэтому издали вершина казалась обезглавленной.

— Что это за гора? — спросила женщина.

— Ухэлави, — ответил ей Киазо, не глядя. Он продолжал ставить палатку, зная, о какой горе спрашивала женщина.

Они помолчали. Ни у кого не было желания говорить — от усталости подрагивали мышцы.

«Вершина со снятой головой... обезглавленная вер-

шина...» — подумал мужчина и бессмысленно улыбнулся.

Наутро они встали рано. Киазо еще ощущал вчерашнюю усталость, но все же бодро укладывал вещи в рюкзак, с надеждой оглядываясь на вершину. Женщине хотелось ему помочь, но она не могла оторвать глаз от царящей вокруг красоты. «Великий Боже, — думала она, восхищенная нежными оттенками утра, ворвавшегося в величавое царство гор, — неужели возможна такая красота, земного ли она происхождения? Кто знает, сколько ушли из этой жизни, не подозревая о ней. Я и сама могла оказаться в их числе! Если бы не Киазо, я бы этого никогда не увидела...» — и она с любовью посмотрела на мужчину, запикивавшего в рюкзак сложенную палатку. «Поглядим, — думал он, — еще не все потеряно, может, нам даже удастся наверстать вчерашнее».

— Погля-дим... Погля-дим... — вдруг громко промурлыкал он. Женщина с удивлением взглянула на него. Киазо подмигнул ей:

— Пошли?

— Пошли!

Это было вчера, утром, когда человек с верой встречает новый день, и все ему кажется легкодоступным и легко выполнимым.

В полдень, когда он с трудом провел женщину по узкой тропе, нависшей над пропастью, нервы чуть не подвели Киазо. Не опасность пугала его, он понимал, что они не укладываются в прежний график, к тому же усталость брала свое, а это более всего страшило его. Он был раздражен. Соперничал с самим собой, притом с тем, кто был на пятнадцать лет моложе. Он ведь задумал: если мне не хватит ровно вдвое больше того времени, которое понадобилось тогда, чтоб преодолеть этот путь, тогда пропади все пропадом. Три дня! Что-то вроде ультиматума поставил самому себе, и баста! Хотя, если честно, чего еще мог пожелать сегодняшней Киазо, — три дня вместо прежних полутора дней! Такую фору мог дать себе только он, и никто другой. И не возьми жизнь свое, он легко выиграл бы это состязание.

Ущелье осталось по правую руку — и это был

хороший признак. Они спустились на небольшую низину, немного отдохнули, поели. Женщина, потрясенная, не могла оторвать глаз от возвышавшихся вокруг гор.

— А как называется вон та высокая гора? — спросила она мужчину.

Киазо не спеша оглянулся в сторону горы, на крутых склонах которой точками чернели кусты остролиста.


— Ухэлави это, Ухэлави, — ответил он и встал. — Пошли, нам пора, а то непогода застанет нас в пути.

Женщина недоверчиво, с сомнением взглянула на него, но ничего не сказала.

На исходе дня действительно пошел дождь, потом и снег с дождем. Холод пронизывал до костей разгоряченные тела. Киазо назло себе упрямо шел вперед и наверное продолжал бы идти, пока не упал, не останови его женщина.

В ту ночь, забравшись в японский спальный мешок, он еще раз подумал: нет, не надо было идти в горы. Вспомнилось море, солнечный день, теплый песок, тихие гостиницы, покачивающиеся на волнах рестораны... Тина относилась к той редкой категории женщин, которые не любят болтать, и у Киазо было время для раздумий, впрочем, толку от них сейчас никакого.

Он познакомился с ней недавно, но уже любил ее больше жизни. Этой любви для Киазо было недостаточно, она не удовлетворяла его — ему хотелось чего-то исключительного, хотелось совершить нечто из ряда вон выходящее, чего никто, кроме него, совершить не смог бы, но что именно делать, он не знал. Наконец решил подарить ей самое заветное, самое святое для него — свое прошлое. Может потому, что именно тот Киазо казался ему достойным этой ангелоподобной женщины. Наверное поэтому он захотел отправиться в горы и показать ей места, где, отрешившись когда-то от жизненной суеты, познал настоящее счастье. Он как бы и ее приобщал к этим радостям, ставшим уже воспоминанием, и для него основательно поблекшим под влиянием быстротечной



жизни. Он не понимал, что задумал невозможное, ибо пытался не только вернуть прошлое, но и изменить его. Он не мог уяснить себе и того, что в спектакле, сыгранном несколько лет назад, не может быть места новому герою. Впрочем, кто знает, может он и понимал это, но вести себя иначе уже не мог. До похода в горы он постоянно говорил с ней о прошлом, большей частью о горах. О тех горах, где сам давно уже не был. Он походил на маленького мальчика, ворвавшегося в царство грез верхом на палке вместо коня и обещавшего своей любимой корону царицы несуществующей страны.

Когда, наконец, пришло время и они отправились в горы, он дрогнул, испугался, что обманет ожидания женщины: — вдруг эта страна лишь плод моей фантазии, моя выдумка и ее нет на самом деле? Он боялся, что, поднявшись в горы, они ничего особенного не увидят. Страхи оказались напрасными — Тина была восхищена, покорена горами и смотрела на него такими благодарными глазами, что Киазо смущенно отводил взгляд. Для смущения была и другая причина: он не увидел, не нашел, не обнаружил своего прошлого, словно те места, где он некогда ощущал себя счастливым, были невидимы его глазу. Более того, он удивлялся — что ее так завораживает. Поэтому и не выдерживал ее восторженного взгляда, ему казалось, что он обманул ее, предал.

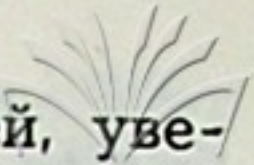
Этот день был последним в горах. Не выйди они сегодня к автомобильной трассе, Киазо уже будет безразлично, выйдут они к ней когда-нибудь или нет. Им оставалось преодолеть последний хребет, но из-за вчерашнего дождя идти по мокрому склону было сложно, и Киазо порой охватывало такое отчаяние, что он с трудом справлялся с ним, боясь, как бы его страх не передался и женщине.

Страх. Где он зародился, когда, откуда взялся, ведь раньше он даже не подозревал о его существовании? Он был тогда другим, на пятнадцать лет моложе. А потом... все это время, вплоть до знакомства с Тиной, он потратил годы, как говорится, на «устройство жизни», у него появились иные заботы, и бытовые проблемы захлопнули дверь перед мечтой. Ему было не до гор, хотя они порой в самое неподходящее вре-

мя неожиданно напоминали о себе, он замирал на мгновение — в сознании всплывали фрагменты ранее виденных картин, — то сверкающие солнечные блики на водной глади источника, то непонятного цвета туман в глубине оврага, то несколько домиков, укрывшихся на дне ущелья, которые тамошние жители, к его удивлению, называли селом... Валуны, чурбаны, цветы, названия которых уже не помнил, а может, и не знал никогда. Эти мгновенные видения сопровождались каким-то непонятным, незнакомым, таинственным звоном, подобным материнскому зову, несущемуся вслед ребенку, убежавшему к своим гомонящим друзьям. Этот зов не помнишь — чувствуешь, но Киазо тут же заглушал его, выкидывал из сердца и по-прежнему плыл по течению жизни.

Если ты делаешь не свое дело, то не жди от него радости и счастья — старания напрасны. Время и так безжалостно все уничтожает, так есть ли смысл отказываться от predetermined тебе судьбой и жить чужой жизнью? Потратить годы своей жизни на чужое дело? Будь у Киазо, к слову, возможность вычеркнуть из своей жизни эти пятнадцать лет! Это не повредило бы ему, скорее, пошло бы на пользу и уж во всяком случае не помешало бы. То, чем он занимался, не было делом его жизни. Хотя он вполне заслуженно пользовался всеобщим уважением. Деньги свои зарабатывал честным путем, понимая, однако, что рожден не для того, чтобы наживать состояние для потомков.

Не его это было дело, но никуда не денешься, — жизнь такая настала, жизнь этого требовала, и ты, обыкновенный смертный, попробуй, не подчинись ей, восстань против ее воли и диктата. Именно жизнь породила касту честных богатеев-трудяг, выделив их в небольшую общественную прослойку. Они не брали взяток, не крали, не участвовали в махинациях, но деньги имели в достаточном количестве — ценой собственного ума и здоровья, хотя и в обход закона. Не говоря уже о натаскивании абитуриентов, которое стало обычным делом, они не щадя глаз корпели ночами над зачетными чертежами студентов-кутил, а днем сочиняли тома курсовых и дипломных работ таких же студентов-повес. Чем только они не занимались? Де-



лали художественные копии портретов вождей, увешанных побрякушками, организовывали столь вошедшие в моду в различных районах Грузии народные празднества, составляли различные проекты для деловых мужчин, переводили книги и издавали их под чужими именами и даже, представьте себе, не имея ученых степеней, не отказывались написать кандидатскую или докторскую диссертацию. Эти люди, задуманные Господом как честные ученые, писатели, мастеровые, разумеется, не могли сравниться с могущественной кастой деловых людей, качающих деньги насосом, впрочем, их женам и детям жаловаться на жизнь не приходилось. Подражая дельцам в силу разных причин, они, хоть и трудились на новый лад, однако желания оставались те же — еще немного, еще чуть-чуть, куплю это, достану то и все, хватит, займусь своим делом! Довольно, довольно... — твердили они, сидя за дружеским столом и провозглашая длинные тосты, в которых возносили хвалу друг другу, пытаюсь хотя бы так восполнить утраченное, прекрасно, впрочем, понимая, что прошедшего не воротить, утраченного не возместить, и тем не менее не могли вырваться из жизненной круговерти, все глубже и глубже погрязая в болоте повседневности, почти позабыв цвет неба и травы.

Это был период бездумно растраченного времени, пустой, бесплодный и бессодержательный. Время, отпущенное Киазо, как бы застыло, поэтому перед отправлением в горы он думал: Бог свидетель, время для меня после последнего моего похода в горы стояло на месте. И, можно сказать, если жизнь будет благосклонна ко мне, я — одних с Тиной лет. В глубине души он действительно верил — если очень захотеть, очень постараться, что-то к чему-то прибавить, что-то отнять, чудо обязательно произойдет, он помолодеет на пятнадцать лет, а потом вернет эти годы, которые обманом выманила у него подлая повседневность.

Возможно, в другом месте этот самообман и удался бы, и все закончилось бы спокойно и безболезненно, но только не здесь. Горы ведь не умеют лгать, они открыто и честно говорят правду, невольно заставляя

тебя заглянуть в зеркало, откровенно показывая тебе, кто ты и чего стоишь.

Нет, видимо, горы не простили ему этих пятнадцати лет.

В полдень, передохнув, они перекусили и даже нашли время внимательнее взглянуть друг на друга.

— Ты измучилась, наверное? — спросил мужчина. — Еще немного, и наше путешествие закончится.

— Что ты, что ты, я ведь шла налегке. А вот тебе пришлось тащить такую тяжесть!

— Хм, какая же это тяжесть... Еду мы съели, от всего лишнего освободились, рюкзак пустой почти наполовину...

— Это не имеет значения.

— Слушай, а может не стоило идти в горы? И чего я завелся!

— Ты это серьезно?.. Думаешь, это наш последний поход в горы?

Мужчина со спокойной улыбкой опустил взгляд.

Тину удивляло, как мог Киазо оставаться равнодушным к этой красоте, он шел, опустив голову, ни на что не глядя, ничем не интересуясь... Потом она подумала: наверное, он так привык к этим местам, так сроднился с ними, что уже не замечает, — человек ведь не восторгается собственным домом.

Слева подножье одного из склонов горы, особенно красивого, покрыло стадо баранов.

— А эта гора как называется? — неожиданно спросила женщина.

— Которая, эта? Сколько раз тебе повторять, Ухэлави это, Ухэлави! — в голосе Киазо почти слышалось раздражение.

— Да что ты... и эта тоже?! — поразились Тина. — Она что, кружит вокруг нас?!

— Тебе это кажется, — улыбнулся мужчина, — первое ощущение у всех одинаковое, но желательно, чтобы ты была понаблюдательней... Пошли, остался этот склон, а там уже спуск.

Наконец они одолели последний подъем. остано-

вились. Перевели дух. Внизу виднелась дорога, изви-
листая, как сама река. На полпути до дороги стояло
жилище, теперь уже, может быть, бывшая стоянка па-
стухов, где Киазо не раз находил приют.

День уходил, исчезал, искал себе пристанище за
далекими горами, забирая с собой солнце, блестящим
желтым шаром висевшее у них за спиной.

Путники стали спускаться вниз. Еще немного, и
они уже даже при желании не смогли бы увидеть ос-
тавшуюся позади Ухэлави, расцвеченную заходящим
солнцем в бледно-красные тона.

Перевод Майи МЕРАБИШВИЛИ



Юрий РЯШЕНЦЕВ

* * *

У полдня с вечером пока ничья.
Крутой холодный кипяток ручья
гремит под окнами. И дикий март
хрустит сосульками. И дальний мат,
с раскатом ливневым гордясь родством,
не портит музыки, живой в живом.

Я счастлив, Господи! А Ты? А Ты?
Тебе приятно, что мы так просты,
что так беспечны, что на склоне дней
мы верим в Бога, не боясь свиней?..

Не отличить до роковой поры
восторг Господен от Его хандры...

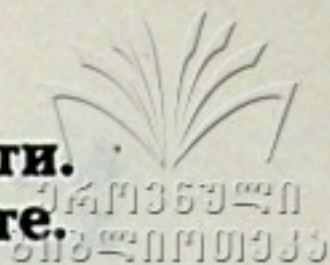
А счастье смертного понять — пустяк.
Не Бог ли учит нас, что мы — в гостях?
В гостях что дорого? Очаг, уют.
О, как пред гибелью снега поют!
Как перед гибелью поют снега...
Как жизнь бессмысленна и дорога.

* * *

Почти не осталось в империи целых окошек...
Как нежно прощается с летом душистый горошек.
Мне есть, что сказать. Но надежнее речь аромата:
в ней — все, чем богат наш язык, кроме разве что
мата.

Изнанка ольховой листвы на ветру серебриста —
так в пляске зеленой цыганки трясутся мониста.

Но нет вокруг нее цыганят, а — армянские дети.
Прошел Сумгаит и Чечня наступила на свете.



Как страстно прощается с летом горошек... Похоже,
сентябрьской росы серебро — не причина для дрожи,
пронявшей Отчизну мою на исходе столетья,
в котором рискнул так надменно, так гордо стареть я.

Армянские дети играют во что-то оттуда —
до рек Вавилонских, до алого римского блуда,
до бешенства Дария, до маяты Андроника.
И жалобно смотрят, крича беспощадно и дико...

МЕДИКО

Как темны в ноябре города:
то ль смеркается, то ль светает.
Никакая другая страда
так от темени не страдает.
Дождись ночных фонарей —
и лица без них не увидишь.
Не старей, Медико, не старей:
до восьми постареешь — обидишь.

У Метехского замка в воде
просто нечему отражаться.
Если в небе блеснет кое-где —
так, для видимости, отвязаться.
Разглядеть ничего не дано:
сладко, холодно, жарко, горько.
Эти губы и это вино
я запомню на вкус и только.

Поколенья грядущей зимы
продирает глаза. Ну, да брось ты:
это будут немые, не мы —
мы еще отвечаем на просьбы.
Там, в Колхиде, у тезки твоей
были средства же от старенья.
Не старей, Медико. Не старей
хоть до смерти стихотворенья.

* * *



Вой мучениц мушиных на липучке.
Хозяйка делит ягоды на кучки.
Восходит над плитою медный чан.
От солнца за оливою олива
уходит в тень глубокую. Счастливо!
Вот час для размышлений у крымчан.

Но мало, кто рожден для медитаций.
Десант пуховый, митинг ли акаций,
конечно, мало значат. Но постой:
переживаний тоненькая пряжа
готова распуститься без пейзажа,
оставив душу голой и пустой.

«Душа» — конечно, чуть усталый термин.
И все же вряд ли избежим потерь мы,
найдя синоним выдоху Творца...
Такая сушь не со времен потопа ль?
Лишь, как фонтан, пирамидальный тополь
из почвы бьет у самого крыльца.

А над крылом, над пеклом черепицы
от Иоанна медленные птицы
прозрачные нам пишут письма.
И от простой работы Сотворенья
до сложной варки местного варенья
всего лишь жизнь, всего лишь жизнь одна.

Инна КУЛИШОВА

* * *

Зевс одряхлел. Когда прошли года,
Состарился Олимп. И плачет Гера.
Потеряна, увы, не столько вера,
Но чувство с перспективой в никуда.

Прошли года. Еще года. Затем,
Как топот крестоносцев, дождь гремящий,
Смыл слезы с лиц. И Некто настоящий
Задумался о сути новых схем.

И линию изломанную строк
Не завершил отрезок безобидный.
Прости меня, попутчик дальновидный,
Не повзрослела я. И ты не смог.



И потому встречаться не спеши
Там, где прошли года. И где проходят.
И тихо в метафизику уводит
Любая мысль о контурах души.

* * *

Когда кончается ураган
И можно опять говорить,
И чай оживляет стакан,
И в лампочке вспыхнет нить,

Я рядом с тобой сажусь,
Ты снова почти не пьян.
И даже не куришь план.
Я в жены тебе не гожусь.
И, значит, очень люблю,
И песни тебе пою,
Когда кончается ураган.

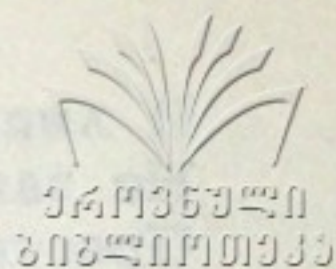
* * *

Словно два постоянных двора,
Мы стояли с тобой на отшибе.
И мой голос, заметный вчера,
Замерзал на последнем изгибе.

Здесь немногим обрадует вид,
Горизонт уточняя обманом.
Длинным шарфом, как болью, обвит,
Ты тоскуешь по сросшимся ранам.

Перед сном лучше быть только там,
Где почти что любовь в перспективе,
Отсчитав не количество грамм,
Но снежинок в растрепанной гриве.

Три сосны пожалела пила,
Дав зиме три подобия елок.
И на пальцах, как капельки зла,
Остаются следы от иголок.

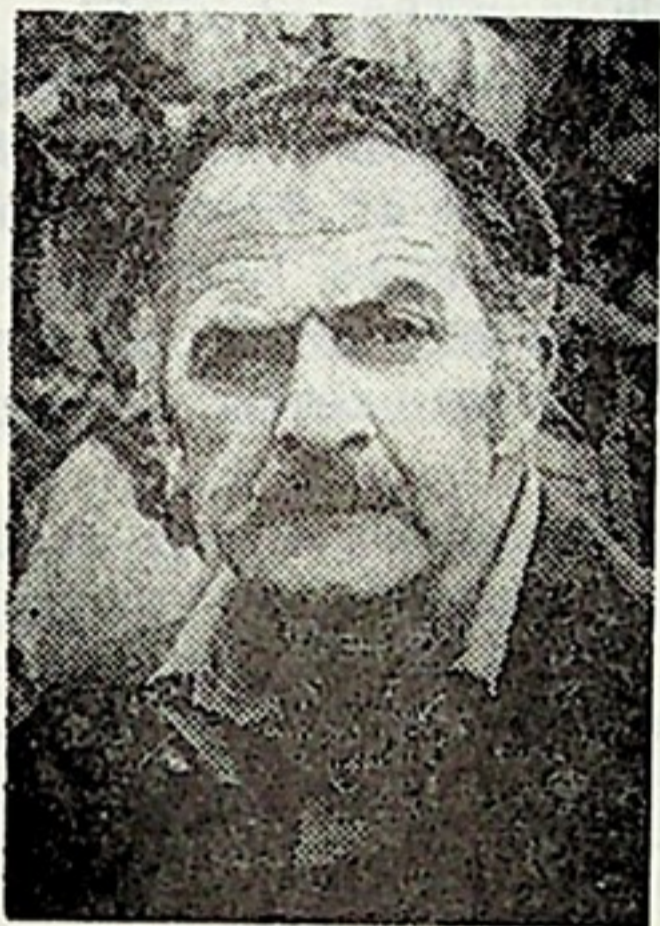


* * *

Когда старый мексиканец загонит коров,
а кубинцы зевают на пляже, любуясь закатом,
мне снятся на континенте странные сны:
плантации с производством бамбука на
душу населения,
и эта луна в зарослях облаков,
и гигантские папоротники, заслонившие
небо,
стада слонов, о которых только слышали,
и множество, множество книг.
И нет в этих снах вроде бы смысла,
если не уважать стариков за то, что
они ближе к тому, о чем мы
только думаем. Если не знать,
что все идет как надо.
И тогда этот стих выглядит
как неудачный перевод
с подстрочника, упустивший
нечто очень важное, но передающий
общий смысл того, что хотел сказать автор.



ГУРАМ АСАТИАНИ



Был 1982 год.

Гурам Асатиани умирал...

В последний раз мне довелось увидеть его за три месяца до смерти: чего уж скрывать, каждый раз подсознательно я откладывал встречу. Тяжело было смотреть на умирающего Гурама Асатиани. Хотелось, чтобы в памяти он остался здоровым, гордым, влюбленным в жизнь, а не прикованным к постели обреченным больным.

Но одним мартовским воскресеньем я пересилил себя и от-

правился в больницу...

У постели больного дежурила мать, калбатони Тина. Она не сразу узнала меня (я отпустил тогда бороду). Потом взяла у меня банку ананасового компота, сняла с нее газету, в которую она была неловко завернута, и поставила на тумбочку у изголовья кровати. Гурам взглянул на «подношение», и я вздрогнул, каким-то шестым чувством поняв, что он сейчас произнесет. И не ошибся. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», — с усмешкой продекламировал он Маяковского, и я почему-то подумал, что других ему, возможно, удастся обмануть, но только не самого себя. Его голос доносился словно из могилы. Он понимал, что это его последние дни. Ему оставалось каких-то три месяца (которые для умирающего равны трем векам), и он

должен был прожить это скупое отмеренное ему время в муках и страданиях.

«Грузинский характер никак не может смириться со смертью», — писал Гурам Асатиани в своей книге «У истоков». Сам он был плоть от плоти грузином, и, естественно, мысль о «неотвратимой дани» (как в древней Грузии называли смерть), которую ему до времени предстояло заплатить, была для него нетерпима. Он страстно хотел жить и согласен был быть прикованным к постели, но только бы жить. Пусть это тело наполовину безжизненно, но мысль ведь по-прежнему ясна и остра, и жажда творчества не угасла.

Двумя днями раньше младший друг Гурама, окрыленный едва заметным улучшением его здоровья, говорил мне, как утопающий, хватаясь за соломинку: если случится чудо, и Гурам поправится, клянусь, я уверую в Бога — значит, он действительно есть где-то там, на небесах, и временами вмешивается в наши дела.

В мой последний визит Гурам мало походил на умирающего — он полусидел в постели, не утратив присущей ему элегантности, и лишь лицо выдавало муки, что ему приходилось переносить. И все-таки это был не умирающий, а просто тяжело больной. И не знаю я, какой беспощадный приговор вынесен ему, ни за что не поверил бы в приближение конца.

Калбатони Тина хлопотала возле него, готовила завтрак, время от времени вмешивалась в нашу беседу. Потом и меня угостила, словно я к ней в гости пришел. Протянула бокал вина, я выпил за здоровье Гурама и добавил: «Чтобы в скором времени мы вот так посидели у тебя дома». Я едва выдавил из себя эти слова, потому что знал, не сегодня-завтра Гурам действительно вернется домой, но вернется всего лишь на несколько дней, чтобы затем отправиться в «вечную страну».

Я смотрел на калбатони Тину, хлопотавшую над сыном с безмятежным лицом, и мне вспомнились строки хевсурского стиха, которые Гурам Асатиани приводил в своих «...Истоках», рассуждая о свойствах грузинского характера: «Испустил дух перед матерью с улыбкой на устах, разметал пред нею кудри, смешанные с мозгами».



Этот народный стих был неизвестен мне, позднее уже я наткнулся на него в сборнике «Пшав-хевсурская поэзия», составленном Алекси Очиаури.

Гурам как будто накликал беду на свою голову, когда писал «...Истоки» — трагизм хевсурского стиха выпал на его долю. Это маска, — говорил он об этих строках. Нам кажется необычным, что можно терпеть боль «с улыбкой на устах», как терпел ее тот хевсур, нам не верится в это, как не верил Иван Карамазов в бескорыстную любовь к ближнему. Стало быть, мы сомневаемся в существовании души?

Не знаю, имел ли Гурам Асатиани какой-либо другой вариант упомянутого стиха, или он сознательно смягчил парадоксальную картину, написав вместо «со смехом на устах» (как в оригинале) — «с улыбкой на устах». Ведь и предложенный им вариант не менее страшен. Неужели его ужаснуло, что хевсур умирал на глазах у матери со «смехом на устах»?

А сейчас он сам исполнял эту роль, и мне не кажется, что это была маска. Если и была, то «вылепленна» она из мощной духовной твердости.

Два часа я провел у постели больного. Мы знали друг друга вот уже двадцать лет, но я не принадлежал — увы! — к числу его близких друзей. Если сложить время наших кратких бесед при встречах в редакциях или на улице, в общей сложности набежало бы два часа. А сейчас судьба подарила мне еще два часа с человеком, своей физической и духовной жизнью олицетворявшим, на мой взгляд, многообразную природу Грузии.

О чем только мы с ним не говорили, казалось, не осталось вопроса, который мы не затронули, но ввиду внутреннего напряжения, владевшего мной, я почти ничего не запомнил. Он говорил увлеченно, а меня сверлила одна-единственная мысль — не беспокою ли я его своим разговором.

У изголовья лежал сигнальный экземпляр только что изданных «...Истоков». Преодолев стеснение, я сказал: — Ты же знаешь, как трудно достать хорошую книгу, так что не забудь меня, когда тираж будет готов. Он ответил: — Как я могу забыть тебя, братишка?! — Так по-домашнему он обратился ко

мне в первый и—увы!—в последний раз. (Через полгода после смерти Гурама калбатони Тина подарила мне эту книгу со своим автографом и в конце дрожащей рукой приписала: «От Гурама»).

Я боялся утомить его. Не давал ему говорить. Пытался развлечь, вспоминая почти все смешные истории, какие случались со мной в жизни.

Но Гурам снова завладел разговором, и тогда я осмелился сказать ему: ты утомишься, лучше молчи, а говорить буду я. Он от души рассмеялся и спросил со своей неповторимой теплой иронией: — А как ты скажешь то, что я хочу сказать?!

Я вышел из больницы, одолеваемый горькими мыслями о том, как мелкие неприятности порой казались мне почти трагедией, а тут я два часа беседовал с человеком, прекрасно, как мне кажется, знавшим о приговоре, вынесенном ему, и несмотря на это не утратившим бодрости и силы духа. Он сражался со смертью поистине рыцарски, ни на мгновение не выдавая своей физической беспомощности — как видно, дух пока властвовал над плотью. Приговоренный к смерти прежде времени, он жаждал жизни как никогда. Всем своим поведением, своим мужеством он восхитил меня и в то же время устыдил. Будучи практически здоровым человеком я позавидовал силе его духа. Одним словом, Гурам Асатиани преподавал мне наглядный урок мужества.

Радость, которую я испытал от общения с ним, смешивалась с огромной болью.

«А как ты скажешь то, что я хочу сказать?».

Сколько невысказанных мыслей унес он с собой в могилу, сколько осталось недосказанного.

«Я лишь заглавие книги, мое время — страница, которую предстоит написать» — надеюсь, я не буду превратно понят, цитируя эти строки Симона Чиковани. Значение и ценность созданного Гурамом Асатиани бесспорны, но с творческой точки зрения лучшее десятилетие (а возможно, и двадцатилетие) было ведь еще впереди...

Делая попытку разобраться в грузинском характере, Гурам Асатиани писал в «...Истоках»: «Для решения этой проблемы необходим был бы согласован-



ный труд нескольких ученых масштаба не менее чем Иванэ Джавахишвили (историка, философа, социолога, антрополога, этнографа, психолога, лингвиста, искусствоведа, исследователя и теоретика литературы). Я коснусь лишь нескольких аспектов этой фундаментальной проблемы, да и то в пределах моих весьма ограниченных знаний и компетенции...»

Читаешь «...Истоки» и четко ощущаешь, как рыцарская душа Гурама Асатиани проецируется на его мысль. Он словно бы создает автопортрет, который питают образы предков, штрихи древних портретов, сохранившихся в нашей литературе или истории, дошедших до наших дней.

Да, ты все должен воплотить в себе, все — твои, все есть ты, обо всех ты должен позаботиться и заставить говорить. Ты и Зураб Эристави Арагвский, ты и его убийца, ты и стихотворец, оплакавший безжалостно убитого Зураба. Ты и Миндиа, и Нацаркекиа.

Книга Гурама Асатиани «У истоков» непременно должна стать еще одним истоком нашего познания, насколько это возможно, самих себя. Еще раз задумаемся, кто мы, что мы, откуда идем, куда направляемся. Беспристрастно взглянемся в себя не пожалеем суровости, если хотите жесткости для собственной оценки. Обличать только других — это не принесет нам пользы, лишь самообличение обогатит нас и выведет на тропу, ведущую к совершенствованию. Прислушаемся и к тем, кто осуждает нас, и перестанем твердить: лекарь, излечи самого себя!

Дым отечества для Гурама Асатиани, как и для славных наших предков, отнюдь не был сладок, не застилал глаза, не пьянил дурманом самодовольства. Он отлично видел достоинства своей страны, но замечал и ее недостатки. Гурам Асатиани писал: «Двойственность грузинского характера содержит некоторую опасность для его интерпретатора. Опираясь лишь на одну сторону этой целостности, будешь либо полностью идеализировать его, либо же наоборот — начисто отвергать. С таким односторонним пониманием грузинского характера я неоднократно сталкивался и в наши дни. Это рождает множество недоразумений и, к сожалению, сбивает с толку не-



мало наивных слушателей. Одни представляют Грузию посюсторонним раем, другие видят в нас нечто ужасное, адское. Одни упрекают нас в эгоизме, другие провозглашают наиболее благороднейшими рыцарями. Только единицы способны взглянуть на нас другими глазами: «Мы были в Грузии, помножим нужду на нежность, ад на рай».

Дело, начатое Гурамом Асатиани на исходе жизни, требует продолжения, восполнения. Следует глубже постичь авторский анализ и выводы, что потребует напряженного исследовательского труда ученого, погруженного в море фактов и предположений, труд этот подобен поиску сверкающего алмаза в куче пепла и золы.

...Кто бы мог подумать, что источник жизни иссякнет на полпути творческой зрелости? Он оставил свою книгу «У истоков» как завещание и ушел от нас.

И скольких уроков лишились мы с этим неожиданным уходом?!

Тамаз НАТРОШВИЛИ



В ПЕТЛЕ

Повести Иринэ Баканидзе являются одним из предвестников перемен в грузинской прозе, вызванных к жизни новой духовной и социальной реальностью. В предлагаемом рассказе молодой писательницы поражает жестокость современной жизни, ее неприкрытый цинизм и грубый материализм. Иринэ Баканидзе все видит и подмечает, от нее не ускользают ни мелочи, ни детали, ни нюансы этой бездуховной жизни. Однако основное достоинство таланта писательницы, на мой взгляд, в том, что, несмотря на свою художественную жесткость, она ищет погребенные под этим тяжким и уродливым бытом начала духовности, которые невозможно уничтожить в человеке и которые не позволяют ему мириться с бесчеловечностью.


Ныне сочувствие в литературе не в цене, равнодушная ироничность стала чуть ли не обязательным атрибутом современного стиля.

Иринэ Баканидзе, которой, впрочем, тоже не чужда ирония,— писатель, умеющий сочувствовать. Но сочувствие ее весьма сдержанно, разбавлено жесткой аналитичностью бытового и психологического реализма.

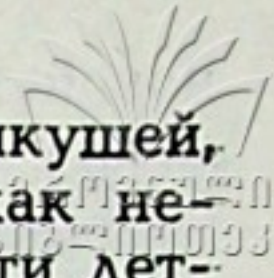
Тамаз ВАСАДЗЕ

Мариам была дочерью Изо, да, именно Изо, а не, скажем, Петрэ, Иванэ, Олифантэ, той самой Изо, что работала продавщицей в отделе табачных изделий. Девочка росла хилым, вялым ребенком. В сравнении с туловищем, у нее были короткие конечности и асимметричное лицо. Красивой ее назвать, конечно же, было нельзя, но ласковые спокойные глаза и нежные губы придавали ей своеобразную привлекательность. Училась она средне, без каких-либо особых проблесков одаренности, хотя потом, спустя годы, скромно говорила: «В школе я была хорошисткой».

После окончания школы ее мать пустила в ход деньги, накопленные торговлей из-под прилавка, и ус-



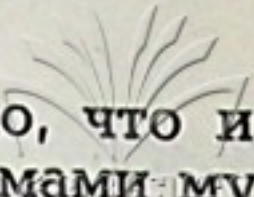
троила дочь в медицинское профтехучилище, готовя ее в будущие феи для больных. Параллельно определила на курсы кройки и шитья, а также кулинарии при Доме офицеров. Так что, основа будущей счастливой жизни дочери была заложена. Затем, преисполненная чувства выполненного материнского долга, умыла руки, и теперь ее всесторонне подкованной дочери оставалось лишь применить по назначению весь имеющийся у нее в наличии как прирожденный, так и приобретенный арсенал. И девочка старалась по мере возможностей. Она не зазнавалась перед своими сверстниками, соседскими мальчишками, но и не снисходила до них, время от времени подчеркивая грань между собственной персоной и ими. Порой случались и эксцессы: то кто-то затаскивал ее в машину, пытаясь похитить, то встречал в темном переулке, но особых последствий это не имело. Девочка делилась своими мыслями с «близкими» подружками, число которых доходило до десяти, рассказывала им о своих приключениях, рассуждая о достоинствах претендентов на ее благосклонность. Так и жила, довольно бесцветно и банально, до тех пор, пока не случилась такая же банальность — появился мужчина. Нельзя сказать, что она совсем потеряла голову, да он того и не стоил: довольно старше ее, классический тип бабника, этакий казановишка, из тех, кто таскается по разным, большей частью престижным, учебным заведениям в поисках «лакомого кусочка», хотя порой, для разнообразия, их может прибить и к профтехучилищам. Словом, категория мужчин, на первый взгляд, кажущихся сильными, самоуверенными, на самом же деле это слабые, безвольные и никчемные существа. Его мужественная внешность, казалось, выдавала весь женский конвейер из матери, сестры, жены или любовницы, опекающий его, заботящийся о нем, подчиняющийся его воле и боготворящий его. Казалось, даже были слышны слова, витающие вокруг него: «Гогита придет», «Гогита скажет», «Гогиту спросим». И этот слегка потасканный тридцатипяти-сорокалетний Георгий, которого продолжали называть ласкательно — «Гогита», был преисполнен чувства собственной значимости. Короче, он принадлежал к тем самоуверенным и самодовольным людям, кто при зна-



комстве легкомысленно представляется Никушей, Тикуной или Манчо, даже не задумываясь, как естественно и неподходяще для них звучат эти детские имена.

Итак, мужчину звали Гогитой, и девочке это нравилось. Нравился ей и тот мир, который угадывался за внешностью, манерами мужчины, за его сорочками, костюмами, носками и автомобилем. За всем этим была другая, неизвестная для Мариам, таинственная, и, что главное, в какой-то мере «неприличная» жизнь. И ее привлекало именно это, поскольку в этом неприличии или непристойности была запретная прелесть, как раз то, к чему так тянулась и стремилась Мариам, для чего были нужны ей все эти курсы кройки и шитья и белый халат медсестры. Всем своим существом, с замиранием сердца она ждала того момента, когда войдет в этот мир, приобщится к его прелести, самоуверенности, наглости, независимости, когда вдохнет этот новый для нее аромат, пусть даже ценой оказаться втянутой в водоворот страстей, вывалянной в грязи с головы до пят, только бы убежать от жалких, серых будней постылого быта, матери, соседей, друзей и знакомых, от вечных, незыблемых правил и законов патриархальной улицы. И Мариам старалась изо всех сил проникнуть в этот потрясающий, как ей казалось, мир, знакомый по кинофильмам и журналам мод из ее скудной библиотеки.

Мужчина водил ее по ресторанам, где Мариам, руководствуясь щедрыми наставлениями своих подружек, щеголяла в сшитых ею самой платьях, блистала знаниями, приобретенными в покройно-пошивочном мире. Мужчина смотрел на нее глазами собственника, хотя чувствовалось, что он не отказался бы вкусить не только этот плод. Это продолжалось до тех пор, пока в один распрекрасный день мужчина не исчез. Девушка, мягко говоря, уже подзалетела. Конечно же, она считала себя жертвой огромной любви и даже собиралась родить ребенка. Но ее мать, которая частенько поколачивала свое забрюхатевшее чад, проклиная себя и свою поганую судьбу, однажды в неистовстве пнула дочь в живот, и у Мариам случился выкидыш. А улица, разнюхав все случившееся, забурлила, заклокотала, а потом затаилась в ожидании



новой гетеры, так как по всему было видно, что из пепла и смрада наваленного перед этими домами мусора вот-вот появится Афродита, которая несомненно пошатнет и заново укомплектует иерархическую лестницу местных жриц любви, метеором пронесется на фоне этого тупого, серого, изматывающего быта. Однако Мариам колебалась, не торопилась, словно чего-то выжидая. Ее мать — сварливая, бойкая женщина, и сама из бывших, смирилась с судьбой, хотя и питала какие-то смутные надежды до тех пор, пока одна из тех десяти подружек не пригласила Мариам к себе и не познакомила ее с участковым милиционером. Тут возник запутанный клубок: подружка была замужней женщиной, но милиционер застукал ее с кем-то в кустах на Черепашьем озере и предъявил ультиматум — либо ты устраиваешь мне Мариам, либо я докладываю обо всем твоему мужу. Словом, потратили деньги, накрыли стол, Мариам опьянела, и упомянутый милиционер утолил свою похоть — высветилось наконец то клеймо, которым с детства была отмечена Мариам, когда глядя на ребенка, сидящего на корточках в углу магазина, старшие шептались: вон девочка Изо, но что толку, и она вроде матери шлюхой будет.


И все же не смогла она стать профессиональной шлюхой, осталась дурной и нерасторопной, а ведь и для этого проклятого блядства нужны особая сноровка и шарм, нужен особый дар, а она не сумела реализовать его, овладеть древними классическими приемами, не решилась безоглядно окунуться в этот дурманящий омут. Она замкнулась в себе и своем доме, почти не выходила на улицу. Клиентура приходила к ней на дом: мать ее, к тому времени изнуренная язвой желудка («Мариам довела меня до этого», — жаловалась она соседям и знакомым, хотя, говоря по справедливости, довело ее до язвы пьянство), почерневшая, иссохшая, сидела у окна, едва касаясь ногами пола, и беспрестанно курила, взирая на распутство дочери из своего мира страданий и близкой смерти.

А дочь ходила в побоях и синяках. Трудно сказать — почему, но избивали ее поголовно все. Может быть, потому, что вид у нее был слишком уж беспомощный и безответный, это была отнюдь не та

ложная, многократно воспетая, возвышенная беспомощность, которая считается неперменным атрибутом и достоинством нежной девственницы. Было в ней нечто до тошноты робкое и забитое, рождающее в мужчинах неосознанное чувство вины, и они колотили ее изо всех сил, чтобы она не смотрела такими глазами, хоть на минуту изменила выражение лица... Избивали ее тощее тело до кровоподтеков, в то время как она, прикрывая голову слабыми, тонкими руками, тихонько скулила от боли, и когда мужчина перед уходом ненароком вновь перехватывал ее затравленный взгляд, чтобы тут же с неосознанным омерзением напоследок ударить ее по голове, у нее вырывался истошный вопль, и, уже не скрывая слез, она лежала на кровати, громко оплакивая себя и вытирая сопли. А потом, когда ее списали в третью категорию и она «благословляла» школьников перед вступлением в большую жизнь, какой-то сопляк исполосовал ей лицо штопором, оставив зигзагообразный шрам от ноздри до подбородка. Она и без того была далеко не красавицей. Тщедушная и костлявая и в пору своего расцвета, она теперь иссохла вконец, ключицы торчали наружу, грудь ввалилась, лицо испещрили мелкие морщины, зубы повыпадали — в верхнем ряду осталось два клыка. А потом у нее умерла мать, и осталась она одна-одинешенька. Тогда и начала путешествовать: приходила на автовокзал, садилась в первый попавшийся пригородный автобус, прижималась носом к грязному стеклу и обозревала проплывающие мимо убогие здания и пустыри, деревья и людей. Или поднималась на улицу Давиташвили, влезала в какой-нибудь сельский автобус, стараясь, если были свободные места, сесть шрамом к окну, и следила за вьющейся вверх извилистой дорогой. Так и ездила, покуда хватало денег, тратя в день от 60 копеек до рубля, но не больше, впрочем, в то время это больше и не стоило. Затем выходила из автобуса, переходила через дорогу и возвращалась другим автобусом в город. Какое-то время, после смерти матери, так и жила, пытаясь обменять квартиру, уйти из этого дома. с этой улицы. Ведь и этот дом, и все окружение она связывала со своими несчастьями и невезухой, это был мир, из которого она тщетно пыталась вырваться.

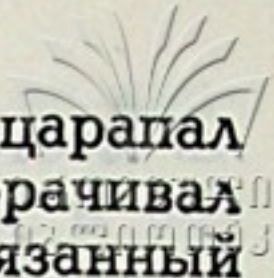
ся. Но затем она перестала дергаться. Появился ^{цав-}кисский парень. Небольшого роста, тщедушный, он жил по-соседству, у родственников, учился в институте, грыз гранит не то сельскохозяйственной, не то экономической науки. Время от времени встречался ей на улице, а познакомились они в магазине — ей не хватило денег, и парень доложил за нее три рубля. В тот же день она пришла к его родственникам, стала в дверях, не смея войти. Шел мокрый снег, и она вся промокла, от холода шрам принял омерзительный синюшный оттенок. Деньги, зажатые в кулаке, тоже намокли. Парень ни в какую не хотел их брать, но Мариам настаивала с гордостью бедняка, который ни за что не оставит за собой долга, и даже в проявлении этой гордости ощущалась беспомощность, больно кольнувшая парня в сердце, он понял, что непременно должен взять эти три рубля: это стало бы знаком их равноправия. Он пригласил ее войти, но она не входила, хотя выражение забитости исчезло с ее лица, она просто не хотела беспокоить парня, не хотела вновь впускать в свою жизнь сложный чужой мир, который потребовал бы от нее концентрации новых сил. Ну а потом, конечно же, она сошлась с ним. Он переселился в ее убогую квартирку и жил с нею, постепенно раскрепощаясь, избавляясь от деревенских комплексов, тем самым подрывая устой своей традиционной семьи и, вероятно, упиваясь при этом своим бунтом. Мариам нравился парень, ей по душе была его стеснительность (хотя за этой стеснительностью скрывались честолюбие и комплекс неполноценности), нравилось и то, что он много читал — в основном, грузинскую литературу, хотя пару раз она заметила среди его книг «Любовь» Мопассана и «Мартина Идена» Джека Лондона.

А потом у них появилась дочь: хилая, бледная девочка с шелушащимся личиком и вечно сопливым носом, и было видно, что девочка вырастет красавицей, хотя участь бабки и матери уже была запечатлена на детском лобике. И Мариам как-то успокоилась, исчезла ее скованность, у нее возникла какая-то мягкая ирония по отношению к себе, и взгляд стал каким-то деликатным — словно молил не трогать ее, не вторгаться в ее мир, а если все же кто-то и совал-




ся, то она больше не сжималась — отвечала спокойно, прощающей улыбкой. Когда религия вошла в моду, впервые переступила порог церкви. Она и сама не знала, что ее сюда привело, может, желание изведать что-то необычное. Она озиралась по сторонам вытаращенными от страха глазами, толком не зная, как перекреститься. К ней приблизилась какая-то малорослая, одетая в черное старушка со строгим замечанием, что так не крестятся. Мариам стало стыдно, показалось, что ей здесь не место, что у нее нет права здесь находиться — и она сбежала из церкви. Затем разузнала, как правильно крестятся, собралась с силами и опять пришла в церковь. Она обожала религиозные праздники, умиротворяющий ритм церковной службы, песнопения, красоту католикоса: странная, нервная радость охватывала ее, когда она прикладывалась к его руке, это восторженное состояние не оставляло ее при выходе из церкви, она распрямляла сведенные от упоительного напряжения пальцы и, улыбаясь, что-то бормотала себе под нос как чокнутая. И в будние дни стояла в церкви, счастливая и праздничная. Ее охватывало чувство не столько религиозности, сколько самолюбования, когда она горячо приникала к иконе, с упованием гладила стены храма и не падала ниц только из-за того, чтобы не демонстрировать свои сбитые, зачиненные туфли — стеснялась. Потом приобрела Евангелие и начала читать. Мыла руки и гордо раскрывала книгу, но прочесть ее так и не смогла, ничего не поняла, и книга показалась ей скучной. Тем не менее, очень ревниво ее оберегала, и когда кто-то из заскочивших к ней таращился при виде Евангелия: «Вах, Мариам, а это у тебя откуда?!» — при этом тянул руку к книге, она грубо обрывала его: «Сначала помой свои грязные лапы, а потом прикасайся к ней». Но и религия не смогла ее увлечь, ей хотелось чего-то простого, конкретного, а Евангелие требовало перестройки, постоянной борьбы с собой, на что у нее больше не было сил, слишком уж она устала. Но когда ее знакомая Света предложила себя в крестные, она крестилась. А потом выяснилось, что Света была армянкой и приобщила ее к армяно-григорианской вере. На крестины было потрачено довольно денег, и гости нажрались, и Мариам, за весь вечер не произне-

сшая ни звука, устроила Свете скандал, и они вцепились друг другу в волосы. Света была рослой бабой и хорошенько намяла бока крестнице. Через некоторое время, когда религиозный пыл Мариам поостыл, появилась еще одна претендентка на крестную — на сей раз баптистка, которая усердно пыталась обратить Мариам в «истинную» веру. Однако Мариам был чужд религиозный фанатизм, она терпеть не могла фанатиков, и что главное, все ее существо было пронизано глубоким и инстинктивным уважением к вере предков. Потом она и вовсе перестала ходить в церковь, хотя время от времени кидалась к маленькой иконе в углу комнаты, которую никто не освящал, падала на колени, неистово билась головой об отставшие от пола грязные паркетины, с воем вымаливая что-то у Бога. Затем немного успокоившись, читала «Отче наш», пытаясь что-то сказать от себя, но слова вырывались все какие-то простые и слишком уж обыденные, и сказанное никак не походило на молитву. «Ты же знаешь, ты ведь и так все знаешь», не умея выстроить фразы, твердила она. Затем опять собиралась что-то сказать, вороша в памяти запомнившиеся из фильмов целые выражения и все же будучи не в состоянии сформулировать обуревавшее ее желание, измученная убожеством своего словаря, этими готовыми слететь с кончика языка, но так и не слетающими словами, со стоном взывала: — Господи, помоги! Она прекратила посещать церковь и молиться, когда Цавкисец закончил учебу, и родственники решили женить его. Парень уже пресытился своим бунтом, освободился от комплексов, и поскольку в отношениях с Мариам отсутствовал какой-то материальный стимул, предпочел помириться с родителями. И Мариам зачастую к гадалкам, тратя на них все свои деньги, теща временами сердце нагаданным: ее Мураз вернется и будет при ней, вот видно обручальное кольцо, значит они поженятся, и какой-то благородный человек протянет ей руку помощи. Но сердечный Мураз бросил Мариам, возвратившись в свое Цавкиси, хотя порой и наведывался к ней, не сжигал за собой мостов, держа у нее кое-какие свои пожитки. Он намеревался открыть на паях коммерческий магазин, и квартира в городе его очень устраивала. Мариам теперь

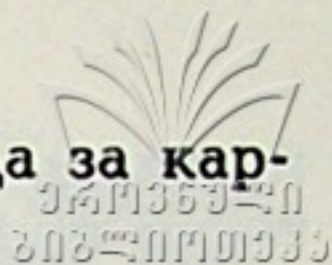


ездила в Марнеули к какому-то мулле, тот царапал непонятные слова на засаленных листках, заворачивал их в черное тряпье, и этот «приворот», перевязанный волосом, Мариам запихивала парню под изголовье. Когда и это не помогло, навязавшаяся ей в крестные Света посоветовала накормить деревенщину ослиными мозгами — «никуда он тогда не денется», но до этого не дошло, потому что в один прекрасный день цавкисский парень собрал свои манатки и пропал навсегда. Что ей оставалось делать, она лишилась деревенских даров, которые время от времени привозил цавкисец, и устроилась на работу уборщицей в милиции. Место считалось престижным, и она им гордилась, хвастаясь знакомством с большими людьми и своими связями. Она и вправду была знакома с участковым инспектором и ему подобными. К тому времени дочка уже подросла, и она решила заняться ее будущим. Отвела во Дворец пионеров в танцевальный кружок, так как танцы считались символом будущей счастливой и безмятежной жизни. Работала она два часа в день и то обычно по вечерам, так что времени у нее было хоть отбавляй. Приведя ребенка во Дворец, садилась в вестибюле на скамью у стены, ждала его, поглядывая на женщин, шушукающихся в сторонке. Женщины не подпускали к себе Мариам, да и Мариам не больно-то к ним тянулась, поскольку они были другого, не ее круга, и, как ей казалось, стояли на самом верху иерархической жизненной лестницы. А потом и этому пришел конец: ее попросили с работы, а другой она подыскать сразу не смогла. Жизнь, между тем, вздорожала, катастрофически подскочили цены. Она не могла уже покупать для дочери танцевальных костюмов и забрала ее из кружка. Но главная причина, которую она не могла объяснить девочке, с ревом требующей водить ее на танцы, заключалась в том, что самой Мариам не вмоготу уже было сидеть в этом вестибюле и выдерживать высокомерные взгляды тех женщин. Ее нельзя было назвать гордой, если и была в ней когда-либо гордость, то со временем улетучилась неизвестно куда, но она твердо знала, там ей не место, она не должна ходить туда, сидеть там. Потом Мариам нашла и работу — возле базара. Стала продавщицей, вернее, ей уступи-



ли место на месяц. Сидела на треноге в переходе метро и уже чувствовала себя гораздо увереннее, продавая заморские сладости, обернутые в кричащие, разноцветные хрустящие бумажки. И вроде бы успокоилась, стала откладывать деньги на зубного врача, собралась купить телевизор, но к тому времени вернулась хозяйка места... Вскоре жизнь подорожала еще больше, отложенные деньги утекли сквозь пальцы, порой они с дочкой перебивались хлебом и водой, нужда еще сильнее сжала горло, и она опустилась до того, что посадила дочь в переходе на лестнице с дощечкой на груди: «Помогите! Я грузинка. Папа геройски погиб в Абхазии. Мама тяжело больна. Бог вам в помощь». Она потеряла обретенный было покой, стала еще более жалкой, огрубела, если раньше покорно стояла в очереди за хлебом, то теперь, когда из-за своей стеснительности частенько оставалась без хлеба, ожесточенно вклинивалась в толпу, именуемую очередью, пропихивала перед собой дочь, протягивая пожелтевшую, морщинистую мозолистую руку к заветной цели — горячему, свежеспеченному хлебу. А дома, растрепанная, еще не остывшая от переполнявшего ее возбуждения, останавливала безумный взгляд на дочери, аппетитно уплетающей хлеб, и волна отвращения и ненависти затуманивала ей взор, поскольку этот ребенок требовал чего-то еще, чего она была не в состоянии ему дать, и в отчаянии от собственной беспомощности и безысходности она вдруг безжалостно награждала ребенка затрециной, а затем бросалась к закатившейся в реве и истерике девочке, судорожно прижимала к груди, жарко обцеловывала и успокаивала. Так и жила, влачила свое жалкое существование до тех пор, пока в один из вечеров соседка Маквала — высокая, с проседью в волнистых волосах, списанная, как и она, хотя все еще привлекательная женщина — не вовлекла ее в одно предприятие: «Внизу у базара стоит грузовик — привезли картошку, мы с Розой перебрали ее, выбрасывали из кузова гнилье, но не забыли при этом и о хорошей картошке; Роза только что сказала, что сторож Резо надрался со шлюхами, к тому же его проклятый пес подох, так что сейчас самое время — нам

бы ночку темную, мешок, ноги в руки и айда за картошкой».



• * •

И ночь выдалась темная, и мешки захватили, но не пройдя и двадцати шагов, Мариам остановилась.

— Маквала, а может, не надо?

— Что значит не надо? — Маквала приостановилась, искоса взглянув на нее. — Опять за свое?

— Да причем тут это? Просто боюсь, кабы чего не вышло.

— Забудь об этом. Ну скажи, что может случиться?! — шептала раздраженно Маквала, но потом, не сдержавшись, повысила голос: — Я же тебе говорила, ничего страшного. Придем, возьмем и конец. Чего бояться?

Мариам не отвечала, нервно проводя рукой по стриженным под мальчишку волосам.

— Ну? — допытывалась Маквала. — Что в этом страшного?

— Не знаю, Маквала, — Мариам неловко повела плечом. — А вдруг там кто-то будет? А если сторож нас застукает?

— О-о, умоляю, только не начинай, никто тебя не застукает!.. И никто не увидит. Сказано же тебе, он там с девицами развлекается. Притащил с базара, и теперь они выпивают — это точно. Сейчас, наверное, ужрались до чертиков, так чего же бояться?

— А вдруг все же увидят?

— Ну вот опять за свое, — Маквала приблизилась к Мариам, пытаясь заглянуть в ее тревожные, затравленные глаза. — Говорю тебе, они наверное уже в отключке. Так что им не до тебя. Придем, перелезем и заберем. Что еще?

— Боюсь я, Маквала, — Мариам мотнула головой, переминаясь с ноги на ногу, собираясь дать задний ход.

— Ну и останешься ни с чем! — Маквале надоело цацкаться с ней и, смачно сплюнув, она решительно двинулась вперед. — Посмотрим, что ты выиграешь! — бросила напоследок.

Мариам некоторое время смотрела вслед ускорившей шаги Маквале, потом медленно, обиженно повернула назад, сделала несколько шагов, снова оста-

новилась и оглянулась на Маквалу. Та уже миновала тесно прижавшиеся друг к другу низкие сонные дома и приблизилась к слабо освещенному одним единственным фонарем тупику. Вот мелькнула ее спина в серой из потрескавшейся кожи куртке, сейчас она сольется с темнотой, исчезнет из виду, и Мариам сорвалась с места.

— Подожди! — крикнула ей вслед. — Куда ты разогналась?

— Э-э! — Маквала бросила косой взгляд на задохнувшуюся от бега Мариам. — Ты сведешь меня с ума, вот уж не думала, что ты такая трусиха.

— Нет, я не боюсь. Просто очень поздно.

— Какое там поздно. Половина четвертого уже, скоро рассветет, и вообще, со мной ты ничего не бойся. Я так всех шугану, что... — она обняла Мариам за плечи.

Они безмолвно пересекли запущенный сквер между высотными корпусами, перешли улицу и пошли вдоль серой тяжелой ограды.

— Как спустимся? — спросила Маквала. — Через железную дорогу?

— Как скажешь, — пожала плечами Мариам.

— Тогда лучше через железную дорогу, так будет короче.


Они пошли по узкой тропинке, отделявшей длинный потрескавшийся дом от огороженной металлической сеткой спортплощадки, пролезли через дыру в сетке, пересекли площадку и вошли в сквер, разбитый перед многоэтажными домами. Мариам вновь обуял страх.

— Маквала, может, не надо?

Маквала резко остановилась и в раздражении обернулась.

— Тогда возвращайся! — процедила она сквозь зубы. — Без тебя дойду. Только потом не канючь, фигу получишь! — и в ярости рванула по тропинке.

Оставшись одна, Мариам запаниковала. Страх сковал ее. Ужасна была эта затаившаяся вокруг тишина и безлюдное, пронизанное таинственностью ночное пространство, одинокие, как бы случайно выросшие причудливые деревья с изогнутыми ветвями. И



она рванула вперед, бросилась вдогонку за ушедшей Маквалой. А та, даже не оглянувшись на нее, бросила:

— Не для себя же стараюсь — для тебя. Я-то как-нибудь выкручусь, не помру с голоду. А ты что сделаешь? Ты ж ни на что не способна!

Они уже шли по трассе, вдоль выстроившихся в ряд разнокалиберных и разноцветных коммерческих будок.

— Вот эта Гогина, — показала Маквала на выкрашенную в красный цвет будку.

— Почему ты ему ничего не скажешь? Может, подыщет для нас что-нибудь.

— Да пошел он... — сплюнула Маквала. — Как же, подыщет, разогнался!..

— А ты попробуй...

Маквала махнула рукой и замолкла. Потом неожиданно повернулась к Мариам.

— Ты же знаешь, Маро, ты же не станешь отрицать. Сколько я на него угрохала, сколько поила-кормила... На чьи шиши он в тюрьме сидел? Кто этого борова там откармливал? Да если бы не я, сдох бы он там от туберкулеза. А когда вышел из тюрьмы, кто его содержал, уж не его ли пигалица-жена? — Маквала опять сплюнула. — Что-то в горле пересохло.

— Маквала, у меня ладони взмокли, а у тебя?..

— С какой это стати они у меня должны мокнуть? — Маквала перешагнула через железную ограду, разделяющую трассу, и спросила: — Знаешь, кто у него сейчас в продавщицах? — И не дождавшись ответа от Мариам, раздраженно крикнула: — Что ты там застряла?!

Мариам вытряхивала щебень из обуви.

— Ты что, на танцы собиралась? Не могла надеть что-нибудь другое.

Мариам нацепила туфлю и заспешила к Маквале.

— Знаешь, кого он посадил в своей «комиссионке»? — повторила Маквала.

— Кого?

— Мери! — ехидно выжала Маквала и, уловив при лунном свете недоуменный взгляд Мариам, впала в непонятную ярость. — Ты что, Мери не знаешь? Мери с фабрики, что женой Изико была!

— Не знаю, и все тут, — пожала плечами Мариам.

Маквала резко остановилась и крикнула в спину опередившей ее Мариам.

— Да как не знаешь, блин!

— Ну что ты пристала, чего завелась? — удивленно оглянулась на нее Мариам.

— Не своди меня с ума! — грубым, охрипшим голосом орала Маквала. — Она с Макой притащилась, все выпендривалась перед нами своей порядочностью, честную из себя строила, а после второго стакана слиняла вместе с Зурой!

— А-а... Эта... — смутно припомнила Мариам.

— Наконец-то дошло! — Маквала достала из кармана сигареты и жадно закурила. — Вот эта Мери и восседает у него невестой.


— Она-то обдерет Гоги как липку, — хмыкнула Мариам.

— Да ладно! — опять взбеленилась Маквала. — Скажешь тоже! Кабы его можно было ободрать, лучше меня никто бы этого не сделал. Никто бы меня не опередил. Как же, обдерешь его! Просто эта Мери для чего-то ему понадобилась. Сожрет Изикоино добро, а потом даст ей пинок в толстый зад. Попомни мои слова. Повремени немного, потом вспомнишь Маквалу!

Трасса осталась позади, женщины уже вышагивали по железной дороге. Ноги вязли в щебне, идти было трудно; боясь на что-то напороться, они шли, пригнувшись в коленях, словно исполняя некий ритуальный танец. Мариам часто останавливалась, высыпая щебень из туфель, а затем задыхаясь догоняла Маквалу. Далеко во мраке рельсы соединялись, сливаясь с тяжелым, как бы погрузившимся в себя пространством, и Мариам опять охватил страх.

— Ты уверена, что Резо уже бухой? — спросила она опять.

— Уверена, — отрезала Маквала. — Я же тебе говорила, что Роза сказала: он и Васико притащили девок. Теперь, небось, уже наклюкались до бровей. И этот проклятый пес сдох, так что все путем. Нам остается только прийти, взять и уйти. Давай сюда, — сказала она и пошла вдоль длинного состава, ища в ва-



гонах открытую платформу со ступеньками. Очутившись по другую сторону состава, преодолели насыпь, спустились к теснившемуся в низине поселку и вошли в узкую улочку. Заслышав их шаги, собаки подняли лай. Женщины побежали по грязному, едва освещенному редкими фонарями проулку, размахивая руками для равновесия, отбрасывая на стены домов и ограды вспугнутые тени. Наконец, выбежали на небольшую, покрытую травой лунную поляну, и тут Мариам вдруг поскользнулась и упала во что-то жидкое и вязкое.

— Твою мать!.. — вырвалось у нее. — Твою мать... — она встала и оглядела себя: все тело ее было вымазано в крови. — Что за черт! — затряслась она. — Что это?

— Что случилось? — приблизилась к ней Маквала. — На кого ты похожа? — она пригляделась к ней и заключила: — Это кровь.

Мариам молчала, с омерзением вытирала руки о себя, о землю, о траву, о камни, как ненормальная скрючивала пальцы, с безграничной брезгливостью и содроганием уставившись в землю. — Мать твою... — обалдело рычала она, — мать твою...

Маквала отыскала какую-то палку и пошарила в траве.

— Барана зарезали, я их... Свадьба, видать, была или еще что... Ну, пошли, чего рот разинула.

Мариам остолбенела от пережитого страха. Чувство омерзения прошло, уступив место безмерной усталости, тело стало каким-то тряпичным, ноги — тяжелыми, стопудовыми.

— Ну ты идешь? — спросила Маквала. — Пошли, пошли, — похлопала ее по плечу, и, не дождавсь ответа, продолжила путь.

Мариам, постояв какое-то время, безвольно двинулась следом. Они шли не спеша, стараясь не шуметь. Пересекли длинную широкую улицу и, очутившись возле базара, миновали небольшую площадь, окруженную низкими домами и заваленную всяким мусором, вошли в узкий, покрытый липкой грязью проход и остановились у железных ворот. Слева стояла сторожка наподобие финского домика, из маленького окошка струился свет; на крыше сторожки

был укреплен прожектор, длинная, яркая полоса света которого освещала складской двор. Вцепившись в ржавую решетку, Мариам прижала нос к гладкому холодному железу и уставилась на грузовик, стоящий поодаль.

— Не надо было мне приходить, — произнесла она.

— Забудь об этом. Пришла уже. — Маквала подтолкнула ее в плечо. — Давай, давай, не дрейфь.

Вцепившись в железные решетки, женщины вскарабкались на ворота, перелезли через них, спустились во двор и на цыпочках, бесшумно пройдя через освещенную прожектором полосу, очутились в тени грузовика у зловонной груды картофеля.

— Перчатки принесла? — тихо спросила Маквала.

— Какие еще перчатки? Для чего?

— Дура, ты что голыми руками собираешься перебирать эту гниль? С ума сведешь меня своей тупостью!

Она натянула резиновые перчатки и принялась разгребать кучу, потом взглянула на Мариам, которая стояла, не шевелясь.

— Ты что, окаменела? Давай, давай, шевели руками.

Мариам некоторое время колебалась, потом нерешительно запустила руку в зловонную кучу.

— Чего ломаешься? Пошевеливайся! — зашипела на нее Маквала.

Мариам отогнала прочь брезгливость и принялась искать в этом вонючем месиве крепкую картошку. Раза два поскользнулась на гнилье, все больше пропитывалась резким затхлым запахом, и потом уже свыкнувшись с ним, лихорадочно искала и находила в липкой массе целое, крепкое сокровище, которое на время принесло бы в дом покой и сытость. Мешок уже был заполнен наполовину, и ее охватила радость.

— Ну, как дела? — шепнула Маквала.

— У меня уже половина. А у тебя?

— Надо еще поработать.

— Мы больше не сможем унести.

— Не бойсь, еще как унесем! — бодро ответила Маквала.

— Так ведь через ворота перетаскивать придется...

— Ерунда, — опять бодро ответила Маквала. —

Все перетащим. — Они взглянули друг на друга и прыгнули. — Ну и как оно было? — победоносно продолжила Маквала. «Боюсь, туда-сюда», — канючила. «Маквала, не надо, Маквала, боюсь», — она передразнила Мариам, и они снова затряслись от смеха.

— Что там происходит! — загремел вдруг чей-то голос. — Вашу мать!..

Силуэт мужчины в свете прожектора показался каким-то нереальным и бесплотным, его огромная, чудовищная тень, казалось, заполнила все вокруг — заколебалась на стенах, ограде, воротах, грузовике, на асфальте.

Реакция Маквалы была мгновенной, не выпуская из рук мешка, она понеслась к воротам. Мариам же словно парализовало. Из сторожки выскочил какой-то тщедушный мужичок в военной фуражке, в освещенном проеме двери показались две полуголые девицы. И впрямь, все казались вдребезги пьяными. Они заполнили ночную тишину улюлюканьем и матом. Первый мужчина схватил камень и запустил в темноту с криком: «Руки вверх!». Тут Мариам наконец опомнилась и рванула к воротам, не выпуская мешка, наткнулась на Маквалу, которая тщетно пыталась приподнять коленом мешок и перебросить его через ограду. Резко загудели ворота от попавшего в них камня. Мариам выпустила мешок и вцепилась в решетку, подгоняемая единственным желанием — поскорее перелететь через эти ворота, эту бесконечную ограду, промчаться по этим улочкам, посеревшим от приближающегося рассвета, укрыться в одном-единственном на всем свете убежище — своем убогом жилище. Кое-как она вскарабкалась на ворота, услышав, как настигли Маквалу, не желающую расставаться со своим драгоценным грузом, спрыгнула с ворот на ограду, пробежала по ней некоторое расстояние в поисках места, где можно было бы безопасно приземлиться, но вдруг поскользнувшись, рухнула прямо на бетонные блоки, сложенные у ограды, по инерции проползла немного и вырубилась прямо в мелкой луже..



Женщина, как тряпка, валялась в грязной луже. Жирная кровавая полоска, сливаясь с водой, искала и находила выход на выщербленный асфальт, капельками стекая в рытвины. Она лежала, неестественно-бесстыдно раскинув руки и ноги, тут же валялись стоптанные, выдавшие виды коричневые замшевые туфли. На ней была пестрая подростковая куртка местного производства с наклепленными ярлыками. На одном чулке пошла петля, а на пятке и вовсе была дыра. По-видимому, чтобы скрыть ее, она надела туфлю, спустив и подвернув чулок, который теперь нелепо плавал в луже. В глаза бросался странный, зигзагообразный шрам на ее лице, тянувшийся от ноздри к подбородку. Из-под короткой стрижки выглядывала тонкая сморщенная шея. В углу рта была прочерчена резкая морщина — след то ли горя, то ли плотского удовольствия. Из-под блузки с оторванной пуговицей выглядывал лифчик из грубой ткани в голубой цветочек, что придавало женщине — безымянной, безликой — некую интимность. От нее веяло таким неземным спокойствием, что кто-нибудь мог и позавидовать ей: вот бы и мне улечься в эту грязную лужу, отбросив стыд и все проблемы. Видно, она была жива, так как слабо вздрогнула и попыталась приподнять голову, и заметив это, окружавшая ее толпа придвинулась поближе, образовав еще более плотное кольцо. Этим людям почему-то нужно было увидеть ее потухшие, помутневшие глаза, словно их изменные души нуждались в каком-то непонятном, чуть ли не садистском раздражении. Но заглянув ей в глаза, они вдруг обнаружили нечто знакомое и родственное, то, что было в каждом из них, с чем они уже сталкивались, увидев свое отражение в зеркале или витринах магазинов, когда не успевали спрятать своих глаз за тщательно подобранными масками. И увидев это знакомое, общечеловеческое, вечное, они, потрясенные, суетливо, сострадательно вглядывались в валяющуюся в грязной луже женщину, пытаясь угадать, что могло быть общего между ними. Подсознательно они чувствовали, что «это» необходимо их душам, их плоти и крови как воздух, они должны узнать его, обнаружить в себе, возродить и генетически передать своим детям,

роду, потомкам. Вот женщина с трудом оторвала от земли голову, обратила уже несколько осмысленный взгляд на кажущуюся ей темным расплывчатым пятном одноликую людскую массу и попыталась что-то произнести. Собрала все оставшиеся силы, и когда их не хватило ей, призвала на помощь силы земные и небесные, всеми точками распластанного измученного тела она впитала в себя энергию Вселенной и откуда-то из недр земных и небесных, из глубин всех своих прежних и нынешней жизнью выдохнула с безграничным укором и отвращением, четко и поразительно спокойно:

— А пошли вы...

И когда она вновь откинула голову на мокрый асфальт, когда вновь закрыла глаза, то почувствовала одновременно и облегчение, и смешанное со страхом отчаяние. Облегчение от того, что ее уже никогда — что бы она ни сделала, что бы ни сказала, не будут бить, не будут топтать; страх и отчаяние — от того, что нет, не кончилась, не прекратилась эта обрыдлая ей жизнь, опять надо жить, опять мыкаться и выть в общей стае.

Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ



Заур БОЛКВАДЗЕ

О, меланхолия, недуг души моей,
Ты мной овладеваешь неотвязно;
Вот сердце, подбери его, согрей,
Теперь я знаю — как оно прекрасно.

Но ты высокомерным, напускным
Отравлена упрямством и прохладцей,
И темные в душе бушуют сны,
О, меланхолия, доколе в них терзаться?

Что ж, торжествуй, я побежден, я смят,
Но сердце верит, сердце бьется вроде,
И в ночи меланхолии летят
Пригоршни расцветающих мелодий.

* * *

Из-под ресниц сомкнувшихся очей
Исток слезы последней вытекает,
Бежит и засыхает, как ручей,
И тьма вокруг. И все вокруг стихает.

Один лишь миг дарован той слезе,
Не суждены ни слово ей, ни песня...
Уйдет опоры точка на стезе,
Земной стезе, а с ней и мир исчезнет.

Жесток полет звезды и бой часов,
Дрожанье свеч в застывшем изголовье.
Уйти?! Когда все высказать готов
Одной слезой, исторгнутой любовью...

* * *

Я устал от одиночества,
Жизнь устала от меня,
У годов далекой юности
Я не вымолю ни дня.

Скоро душу я напутствую
К солнцу, в беспредельный путь,
Из ночей бессонной юности
Ни одной мне не вернуть.

Переводы Владимира САРИШВИЛИ

И ОСТАЛИСЬ СТИХИ...

В это не верится, об этом тяжело думать и горько писать. Ушел из земной жизни Заур Болквадзе, поэт, Человек с большой буквы.

Вспоминается его печальное стихотворение «Журавли». В нем речь идет об осеннем перелете этих группных, длинноногих и длинношеих серо-черных птиц, выстроившихся треугольником. Они летят, летят, многие погибают, и нет конца пути, и сердце колотится так, что готово выскочить из груди. Они уже не курлыкают и не просят помощи. А Черному морю снятся минуты, когда буря уничтожит журавлей...

Вспоминается стихотворение-миниатюра, всего в четыре строки, которое в переводе звучит так:

По узким тропам ухожу все дальше я,
Гляжу — уже до звезд недалеко...
Ведь каждая гора — земля восставшая,
Взметнувшаяся в небо высоко.

Неприменно надо сказать о патриотической теме в творчестве поэта. Можно даже предположить, что наиболее часто в своих стихах он употреблял слово — Грузия.

Лирика Заура Болквадзе — в целом скорбная, но вместе с тем стих его всегда энергичный, бурный, наступательный. Наблюдается стремление к парадоксальной афористичности. Поэт не созерцательно, не пассивно воспринимает трагичность действительности, бытия, напротив, его реакция эмоциональна, чувства полны страсти...

Познакомились мы с Зауром Болквадзе давно, тогда я был студентом, он же работал в многотиражной газете Тби-

лисского государственного университета и одновременно входил в руководство кружка молодых писателей. Фактически возглавлял его. Организовывал обсуждения, литературные вечера. И еще печатал в своей газете наши стихи. Причем щедро.

В обсуждениях произведений юных дарований Заур обычно не принимал участия. Но когда страсти накалялись и произносимые фразы становились слишком резкими для университетской аудитории, он брал слово. Правда, не всегда ему удавалось успокоить и утихомирить присутствующих. Случалось, Заур сам увлекался, входил в азарт, и речь его была не менее пылкой и страстной, чем речи его «подопечных».

Литературные дискуссии велись не только в здании, но и в саду перед первым корпусом нашего вуза. Там главенствовал друг Заура, поэт Шота Чантладзе. С его взглядами и оценками считались почти все.

Заур Болквадзе работал в нескольких редакциях и, наконец, пришел в журнал «Нианги». Он занимал разные должности до того, как стал главным редактором. Должность, что и говорить, солидная. Но говорю не ради красного словца — он совершенно не изменился. С друзьями, по крайней мере. Остался таким же простым, таким же открытым, таким же приветливым.

В юмористический журнал, случалось, назначали руководителя, для которого удачная шутка — что вожжа под хвост. Заур же обладал большим чувством юмора, о чем свидетельствуют его многочисленные стихи, опубликованные именно в «Нианги». Правда, в лирике к юмору не прибегал.

И еще об одном. Сказать грузину, что он скупой — значит нанести ему кровное оскорбление. Даже самые прижимистые демонстративно обижаются. Но такого щедрого и хлебосольного человека, как Заур Болквадзе, я, пожалуй, не встречал. Он любил угощать не только друзей, но и полужнакомых, и почти незнакомых людей. И потом дарил деньги — на такси, сигареты, на всякие мелкие расходы.

И вот он ушел из жизни. Разумеется, остались стихи, и прекрасно, что они есть. Однако самого-то его нет. И для друзей это большое горе, большая беда.

Георгий ЧАРКВИАНИ



Михаил ТУМАНИШВИЛИ

ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМУ «ВИШНЕВОГО САДА»

Время — великий экзаменатор. Оно предаёт забвению ничтожное, преходящее и утверждает ценное. Так оно поступило и с учением, философией и методологией великого мастера, архитектора театра Михаила Туманишвили. Сейчас, когда его уже нет с нами, именно время выявляет и утверждает его гигантскую значимость для театра. Он оставил непревзойденные сценические создания, опыт исканий и литературное закрепление их.

«Импровизации на тему «Вишневого сада» — произведение особого жанра; это первоначальный эскиз будущего спектакля, разработанный вдохновенно, эпизод за эпизодом, сцена за сценой. Очень важно понять природу этого эскиза, дающего возможность ощутить творческий процесс создания концепции спектакля в его живом и сложном движении в глубь пьесы путем анализа, поисков душевных первопричин происходящих там событий, с помощью воспоминаний, снов, ассоциаций...

Когда читаешь рукопись «Импровизации на тему «Вишневого сада», возникает ощущение, что перед тобой переложённое на слова музыкальное произведение, а происходит это потому, что режиссерский замысел великого мастера — пример высочайшей театральной культуры, дающий ясную, последовательную концепцию целого, мощного единого образа спектакля, что и сближает ее с музыкой.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, режиссер

Встаю я очень рано и сразу же, чтобы не пропустить наступления нового дня, выхожу на улицу. Рассвет — это чудо! Я прислушиваюсь к нему.

Быстрым, насколько у меня получается, шагом иду к парку, к стадиону. А там меня уже встречают мои соотечественники, молодые и старые, мужчины и женщины, дети. Здесь каждый по-своему и по мере сил упражняется: кто-то бегает, кто-то ходит, играют в теннис, некоторые карабкаются на Черепашье озеро. Один толстяк все время помогает бегунам своими выкриками — «Моумате, моумате!»*

Утром во время прогулки я думаю, планирую, сочиняю, готовлюсь к предстоящему дню. Думаю о «Вишневом саде», о том, что в жизни все изменяется и исчезает что-то очень для нас важное и дорогое. Мало ли о чем человек думает!

Где-то на востоке, сверкая, встает светило: с добрым утром, люди-и-и!

ПЕРВЫЙ АКТ.

Начало «Вишневого сада».


Раннее утро — еще темно. Даже летом. Тем более, что на дворе идет дождь. По всей комнате на втором этаже расставлены тазы, кастрюли. Дом ведь большой, но старый, крыша протекает. Дуняша выносит наполнившиеся тазы, выливает воду и вновь ставит туда, где капает. Дождь то усиливается, то проходит стороной. В небе страшная борьба туч-великанов. На диване спит Лопахин. Просыпается. Неизвестно почему. Может быть, потому, что Дуняша опрокинула стул в темноте. Проснулся, стал потягиваться.

— Который час?

— Скоро два.

Затекли ноги в новых желтых ботинках. С трудом снимает их, рукой разминает ноги в носках. О чем-то думает. Сам с собой говорит, вспоминает Раневскую, детство. Надевает ботинки, зашнуровывает. Хочет ополоснуть руки. Подходит к тазу с дождевой водой. Дуняша приносит Лопахину кувшин с чистой водой. Сплетничает о чем-то. Лопахин вдруг решился и раздевается по пояс. Умывается хорошо, шумно. Получа-

* Давай быстрее, быстрее!



ет удовольствие. Окончательно проснулся. Дуня приносит ему полотенце. Лопяхин солидно, не спеша одевается, готовится к встрече с Раневской, опять говорит сам с собой. Только раз взглянул на Дуню. Не понравилось ему, что подделывается под господ.

Темп замедленный. Капают с потолка капли. Прислушаться, своеобразная музыка получается.

Пришел Епиходов. Сапоги мокрые. Принес ветки вишневых деревьев. Где он их наломал, как ходил в такой темноте по саду? А какой он, этот сад? Может быть, там давно уже нет цветущего сада? Говорит же Фирс, что было время, когда из вишни варили варенье, сушили вишню, мочили, возили в город продавать. Стало быть, сейчас...

В книге по садоводству прочел, что через каждые десять лет дерево вишни необходимо выкапывать и сажать новое. Сада, о котором здесь плачут, по сути давным-давно нет. Все мы плачем о прошлом, всегда представляя его прекрасным. Сидя в Париже, Раневская рисует в своем воображении необыкновенный вишневый сад. В этом саду беседки, гrotы, пруды, прекрасный воздух, качели. Какой сад! Какая первозданная красота! Если ехать из Парижа в дилижансе или фаэтоне очень долго, в конце концов можно доехать до России, до вишневого сада, до детства. А детство всегда сплошь в необыкновенных вишневых садах.

Мцхета. Вниз от бабушкиного дома, через мостик налево, после небольшой кузницы, вплоть до самой Бебрисцихе — вишневые сады. Справа издали доносится шум Арагви, за ней к небу возносится Джвари. Бабушка вместе с нами (внуками), красивая, стройная, одетая в модное летнее платье, сидит на линейке (бричке) — мы едем собирать спелую вишню. Кругом ни души. Так тихо, что слышна музыка шмелей и стрекоз. Высоко, высоко над нами солнце, а под ветками прохлада. Мы собираем сочные плоды и стараемся заслужить бабушкину похвалу. Две вишни на раздвоенном хвостике, три вишни. Какой потрясающий глубокий цвет у очень спелой вишни, какой сладкой прохладой переполнен он. К тому же, если это вишни из твоего детства.

Мне рассказывали, что этот сад принадлежал де-
душке, но он продал его богатому армянину.

Все же, что там происходит за словами? Поезд
опоздал. Поезда и тогда опаздывали. Лопахин прос-
пал. Хотел встретить, специально приехал, чтобы
встретить, и проспал.

Три часа ночи, а Раневская, Гаев, Аня вместо
того, чтобы ехать домой, закусывают на вокзале. Что,
в те времена и в три часа ночи работали буфеты? Хо-
тя, они, вероятно, ждут багаж. Это ведь не один че-
модан. Это мы сегодня разъезжаем по всему свету с
одним чемоданом, а тогда так не ездили. А Аня, ве-
роятно, там, на скамье в ожидальне, заснула.

Мы, режиссеры, очень похожи на обнаружителей
мин. Есть такая военная специальность — саперы. При
помощи особого устройства они обнаруживают мины и
обезвреживают их. А мы взрываем. Где они в пьесе,
эти мины, готовые взорваться? Главное, установить в
чем конфликт, в чем несовместимость, кто кому ме-
шает, кто в чем заинтересован, что движет системой
конфликтов? Но конфликты — это не обязательно
скандал, драка. Жизненные конфликты чаще всего —
это конфликты с самим собой и с окружающими, с
обстоятельствами, которые воздействуют на нас. Из-
за чего все это началось, что в этом Вишневом саду
случилось, о чем и через много лет будут судачить
дачники, что это за история, которая приключилась с
какими-то смешными, неумелыми людьми. Что о ней
будут рассказывать?

Суть: за долги, за неуплату процентов, Вишне-
вый сад и поместье продадут с торгов. Здравомысля-
щий, практичный человек предлагает способ спасения.
Его план кажется владельцам диким. Для него Сад —
это деревья, а для них — духовной жизни след. Они
подобны вчерашнему дню, не способны на действие,
ничего не предпринимают и ждут чуда. Но чуда не бы-
вает. На торгах Сад продали. Купил его практичный
человек. И все. А эти непрактичные люди уходят и
уносят с собой что-то очень значительное, важное, что
не покупается и не продается. Прощай, Вишневый сад!

Можно посмеяться над этими непрактичными людь-
ми, можно с грустью восхищаться ими или можно ру-



гать их, можно, наконец, отдать должное практически, способности деловых людей. На днях, один в общем-то неплохой человек долго объяснял мне, что сегодня надо научиться жить по-другому и, чтобы делать искусство, нужно уметь делать деньги. И в театре и в жизни. Например, купить лес(!) в Сибири и продать в Англии (!), а на полученную прибыль снять кинофильм. Или наварить орехового варенья в Кахети и продать его... а, может быть, я чего-то недопонял. Словом, можно критиковать, охаивать этих дельцов, вошедших во храм, можно ими восхищаться — каждый волен выражать свою точку зрения.


Пришел, значит, Епиходов. Нахальный неудачник во мещанстве. Он там внизу, на лестнице. Говорит какие-то глупости. Никто на него не обращает внимания. Хотя вот Дуняша как будто случайно выливает на него грязную воду. На него и на вишневые ветки, которые он притащил.

Опять зачастил дождь. Забегала Дуняша, снова стала подставлять тазы под капающую с потолка воду. К ЗВУКУ КАПЕЛЬ ПРИБАВИЛСЯ ЗВУК КОЛОКОЛЬЧИКА. Это первый этюд.

Я полюбил Питера Брука за его влюбленность в свое дело. Театр у него старинный, маленький, но с ярусами, ложами, был когда-то в позолоте. Он снял сцену, убрал партер, выстроил в середине помост с полметра высотой. Когда мы были у него, он сбросил туфли, сел в круг вместе со своими актерами на подушки и стал заниматься упражнениями. Высокий индус напевал сложный мотив, а все остальные, в том числе Питер Брук, хлопали в ладоши и повторяли его, все время меняя рисунок и ритм. Они занимались этим, как ритуалом. А без этого нет настоящего театра.

Идет дождь, протекает крыша, в небе — война черно-белых туч. Где-то на вокзале Раневская, Гаев, Аня и другие ждут багаж. Что происходит с этими милыми, но никчемными людьми?

Гаев встретил сестру, племянницу шумно, очень энергично, а потом как-то вдруг сник. Не может усидеть на одном месте. Сел, вскочил, пошел быстро по



перрону к багажному отделению, что в конце вокзала, возле спичечной фабрики. Потом зашел в зал ожидания, почему-то внимательно просмотрел расписание поездов, какие-то плакаты о пожаре, о малярийном комаре. Зашел к сонному начальнику станции, потом опять подошел к своим. Потащил всех в ресторан или в буфет. Волнуется Гаев — приехала сестра, начнет сейчас командовать. Эх, как-нибудь все устроится! Издали раздаётся звон извозчичьего колокольчика... Забегали, засуетились. Разговоры, голоса. Обе двери открыты и все слышно, что происходит в передней на первом этаже. Бегом поднимается по лестнице Аня. Мчится. Ей срочно нужно в туалет. Бросает на пол мокрую накидку. Небрежно причесана с дороги. Поднялась Варя, промокла (это все этюды).

Потом пошли люди. Рабочие несут огромные сундуки, корзины, баулы. Очень по-деловому прошел Гаев. Как будто бы у него много дел и он ничего не успевает. Но дел у него никаких нет.

И вот, когда на сцене толчея, много народу (но говорят они вполголоса, ведь ночь же еще!) ВХОДИТ РАНЕВСКАЯ. Остановилась. Думала, все замрут, ведь это ее ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ! Но никто на ее появление не обратил внимания. Она смешалась, ушла в себя. ВЫШЛА ИЗ ДЕТСКОЙ. Это ведь бывшая детская.

Детская! Самое интимное, теплое, дорогое место на земле. Здесь жили дети, у каждого была своя кровать, игрушки, в углу мраморный умывальник, полотенца. Здесь нам по вечерам рассказывали «в некотором царстве, в некотором государстве...» Здесь играли на фортепиано этюды Гедике, мы хором пели. Здесь лепили елочные игрушки и маскарадные шляпы. Это была самая солнечная комната во всем доме. Детская — символ прозрачного детства! Прошлого! То, ради чего Раневская вернулась.

Но сказка пропала. Вместо детской — проходная комната с этими ужасными тазами. Потолки обрушились. Стекла разбиты. И запахи совсем другие.

Гаев и Раневская, брат и сестра. Отец генерал Гаев. Набожный. Жил богато. На балах — бароны, генералы... «Вишневый сад» попал в энциклопедический словарь (как, например, «Софиевка» в Умани). Ранев-

ская — по мужу. Любила гостей, праздники, музыку, веселье. Натура беспечная, широкая. Жизнь сложилась несчастливо.

Выходит замуж не за дворянина против воли тетки.

Муж Раневский умирает от шампанского (пьяница). Она сходится с другим. В это время утонул в реке маленький Гриша. Это страшно.

Раневская бежит, уезжает за границу.

Любовник едет за ней. Заболел (чем?).

Она покупает дачу возле Ментоны (деньги?).

Три мучительных года на даче в Ментоне.

Дачу продают за долги.

Раневская едет в Париж. Бежит от любовника, но он опять едет за ней. Обирает ее в Париже.

Сходится с другой. Раневская травится.

Стыд, отчаяние, тоска по родине.

Аня приехала. Сообщение: вишневый сад продадут за долги.

Возвращение. Стыд, отчаяние.

На родине проела последние деньги, задолжала Лопухину 40 тысяч. Дом и сад проданы с торгов.

Любовник вызывает ее в Париж.

На оставшиеся деньги (забрала все) возвращается в Париж.

Умирать?

Я помню, когда бабушка продала дом во Мцхета, забрала все деньги, уехала в Петербург, купила там необыкновенную беличью шубу и шапку, сфотографировалась и всем дочерям и сыновьям вместо их части наследства раздала эти фото. Хотя, какое там наследство! Ведь дом и так отбирали, чтобы открыть в нем сельсовет или еще что-то.

В Париже Раневская вела странный образ жизни. Жила где-то в мансарде, над пятым или шестым этажом. В квартире неуютно, накурено. Плохо жила. Так ли все просто? А если рассказывать в таком ключе о жизненных злоключениях моей мамы или бабушки? Каким образом мама оказалась с сестрой и дедушкой (он был военным) в Харбине? Как они там жили? Старшая сестра, Нина, вышла замуж за поляка и че-

рез Америку уехала в Польшу. А бабушка от разрыва сердца умер в вагоне. Потом бабушка через всю Россию ехала за моей мамой в Маньчжурию. А в Иркутске ее встречал генерал-губернатор и угощал рябчиками. Все это было описано в ее дневнике, который она давала мне читать. А маме тогда было всего 14 лет. За всем этим жизнь, полная тревог, происшествий, страшных переживаний.

Из красного диска солнца, из пылающего огненного круга, из самой его глубины вылезают маленькие, худенькие, расплавленные человечки. Садятся на край диска, как на обруч, болтая ножками и, повременив немного, прыгают в море. Вот они скользят по волнам, и из них возникает блестящая, сверкающая полоса, идущая от солнца к берегу. Люди хмурятся, глядя на нее. А солнце опускается все ниже и ниже, стараясь зачерпнуть, собрать их всех и уложить спать где-то там, далеко, в пучине моря, за горизонтом. И сверкающая дорожка исчезает. Наступает раздвоение — ни день ни ночь. Что-то среднее. Кажется, мгновение остановилось. Но вот луна зажгла ночник и убаюкала всех. Бред какой-то. Мне одиноко. Я смотрю на вечер, а вечером мне всегда грустно, с самого детства, грустно и одиноко. Потому что ушли куда-то спать маленькие, расплавленные, худенькие человечки.

Во всех окружающих меня явлениях я вижу этих маленьких человечков и поразительных гигантов. Гигантов — это когда много облаков. Они сосуществуют в моем воображении: маленькие, худые, изящные, чуть вытянутые человечки и гиганты, огромные, неуклюжие, выше облаков, из облаков. Они не замечают друг друга, потому что живут в разных измерениях. Гиганты слишком велики, — а маленькие слишком ничтожны для восприятия. Я же их всех ощущаю не физически, а интуитивно и внутренним взором. Как любопытно за ними наблюдать!

Итак, Раневская вошла в бывшую детскую (сегодня это — проходная комната, интим пропал) и застыла. Она много раз в воображении проигрывала эту сцену еще в Париже, потом в дороге. Она очень переживает, занята собой, смотрит на себя изнутри и не-

много со стороны. Ей себя очень жаль И потом, после смерти Гриши, она впервые входит сюда. Умер Гриша, маленький Гриша. Утонул.

Я вспоминаю: моя бабушка при каждом упоминании о погибшем сыне Мише скрытно, не для других, плакала. Слезы сразу же возникали на ее серых глазах. Его портрет висел на стене, в богатой серебряной раме, над ним военная фуражка с черным козырьком. И еще шашка. Это все, что осталось от него. В то страшное утро 19 февраля 1921 года многие полегли возле Табахмела.

А, может быть, Раневская появляется одна. В темноте. Рыдает. Когда входят другие, она подымается с маленького стула, замкнувшись, уйдя в себя. Люди ее воспитания умели скрывать свои чувства.

Голые, с потеками от дождя стены. Огромный, старинный ореховый шкаф. Сорванная с окна богатая прозрачная гардина на нем. Скатерть грубой фактуры, такого размера, что со стола переходит на пол и служит подобием ковра. Больше ничего. В одном углу портреты дедушки и маленького Гриши в рамах. С середины потолка свисает лампа с огромным абажуром. Мебель старинная, сегодня такой нет. Комната неубранная, непонятная. Посреди нее лежит старый бачок от унитаза, и никто не помышляет перенести его в другое место. А ведь в этой комнате, даже после того, как она перестала быть детской, кипела жизнь, звучала музыка, пили ликер, особый, который разливают в рюмки-наперстки.

Все, что в прошлом, все прекрасно. Так я вспоминаю свою жизнь на улице Джавахишвили как счастливую и прекрасную. А на самом деле все было далеко не так. Или бабушкин дом во Мцхета, вишневый сад и миндальные деревья. Все, что в прошлом, прекрасно и неповторимо. Прошлого давным-давно уже нет, а мы все еще там.

Это жизнь на СКВОЗНЯКЕ ИСТОРИИ. Вот как мы сейчас: не можем понять, что с нами будет?

Варя хочет узнать у Ани результат ее поездки: привезли ли деньги из Парижа, чтобы заплатить проценты? Аня стала разбирать свой чемодан. Вынимает

оттуда тапочки, ночную рубашку, всякие кремы, одеколон, подарок для Вари. Рассказывает (оправдывается) об ужасном положении матери (денег не привезла, все растратила), упрекает Варю: зачем ты послала меня в Париж, зачем это нужно было, и еще эта Шарлотта, а я и французского языка толком не знаю. И в этом Варя виновата!

Так моя дочка Лика со мной разговаривает, знает, что я ей все равно ничего не отвечу.

Варе захотелось остаться одной. Она поняла, что денег для выплаты процентов нет. Старается скрыть свои чувства. Когда она уже почти выходит из комнаты, Аня спрашивает:

— Заплатили проценты?

— Где там.

Все ясно. Гибель. Пауза. Чего боялись больше всего, свершилось.

Вошел Лопухин. Хочет попросить Варю, чтобы она всех собрала. У него есть план спасения Сада. Он хочет успеть до пяти часов сообщить об этом Раневской. Но Варя гонит его. Мол, поздно, и Аня в неглиже. Прогнала.

Аня спрашивает (чуть злится): ну, почему ты не выходишь за него? (Это упрек). Ты немало хорошего видела от нашей семьи.

Варя занервничала, поняла намек Ани, пытается оправдаться. Потом вдруг стали обниматься, просить прощения друг у друга. Заплакали. И вдруг эта иголка-брошка. Варя вскрикнула, а Аня убежала, забыла ночную рубашку и тапочки.


Пришла взбудораженная Дуняшка. Она не умеет пользоваться этим кофейником. Это какой-то особенный кофейник, парижский.

Потом опять вбежала Аня, за тапочками. Она уже полураздетая. Вдруг остановилась, прислушалась к утру.

Варя — Выдать бы тебя за богатого человека.

Аня — Птицы поют (Почувствовала себя на родине, дома).

Хватает ночную рубашку и бежит к себе переодеваться.



Накануне приезда Раневской Лопехин вспоминает: она такая худенькая! Он влюблен в эту худобу, изящность. Он влюблен в ее необыкновенность, в нее, такую влекущую к себе и не дающую приблизиться. С ней нельзя запросто, но она со всеми запросто.

И вот она приехала! И совсем не изменилась, такая же, какой была: беспечно добрая, беззащитная, маленькая. У нее светлые волосы и глубокие-глубокие серые глаза. Прически меняла часто, и все к ней подходило. Чуть чувственные губы. Стройная, красивая, порывистая, несмотря на возраст молодая. Даже простенькое платье шло ей необыкновенно. Она любила хорошую красивую обувь. Любила петь и хорошо пела, играла на рояле мазурки Шопена. Часто улыбалась даже самой себе, но тут же глаза ее наполнялись слезами, которые она искусно скрывала. Где бы она не появлялась, все смотрели на нее. Она чувствовала это и получала удовольствие от того, что всем нравилась. Часто была капризной и мгновениями даже злой. Все время переходила от самоиронии к патетике и наоборот. «Гриша мой... мальчик. Там Аня спит, а я... поднимаю шум». Раневская задолжала Лопехину, а в карты играет азартно (фрап), забывая все вокруг.

Деловое предложение Лопехина — эпицентр акта.

По приезде, еще возле тарантаса, Лопехин, встречая Раневскую, сказал Гаеву, что в пять часов утра он уезжает и что срочно нужно поговорить о деле. Я кое-что придумал! — сказал Лопехин. Гаев ничего не понял, но ответил: Э-э-э, это гениально! — И побежал сказать сестре, что есть выход, Лопехин вероятно объявит: я заплачу проценты, и это будет моим свадебным подарком Варе!

Все согласились, переоделись, привели себя в порядок и вышли на переговоры.

Собрались в большом, рассыпающемся, как Фирс, старом доме. Будь он добротным, разве Лопехин отдал бы его на слом? Значит, дом очень плох. Здесь много комнат, лестниц, балконов, веранд. Отремонтировать — дороже обошлось бы. Дачники таких домов не нанимают, такие дома обычно ломают, а материал используют на постройку современных дач.

Собрались, стараются не говорить о главном. Раневская раздает подарки из Парижа.

Надо вспомнить, как это бывает: как преподнести, кому как принять, каждый по-разному. Подарок Варе, Фирсу, Дуняше — куклу. Раневская забыла, сколько ей лет.

И вдруг она увидела старый шкаф. Этот свидетель детства потряс ее.

У меня есть несколько старых предметов, вещей, которые остались из моего детства. Мне они очень дороги. Только мне. Когда мне грустно, я сметаю с них пыль, стараюсь приблизиться к ним и через них ухожу в свои воспоминания. Стараюсь вернуться к тому, что давным давно ушло. Шкаф! Огромный, орехового дерева. Для меня это символ моей прошлой жизни. За этим шкафом я прятался в углу, когда мне хотелось побыть одному и понять, почему этот угол нашей квартиры острее других углов? На этом шкафу были сложены старые, еще дореволюционные детские журналы. Я часто прятался и в нем, и там было так хорошо. Этот шкаф был символом моего прошлого. Он был таким огромным, что его невозможно было вынести из квартиры, он был собран в ней, потому что не пролезал в двери. Это был наш дом. Перед таким шкафом можно было произнести монолог.

А Лопахин преподнес им сюрприз: поделим вишневый сад на участки... Это то же самое, если бы сегодня он сказал нам: давайте разделим вашу квартиру на три однокомнатные с общей кухней, уборной, и тогда можно сдавать студентам по сто рублей в месяц (не знаю, сколько сегодня стоит комната)! Но его никто не слушает. А, может быть, он плохо объясняет? Или им как-то иначе нужно объяснить? Он-то думал, что обрадует их, придумал прекрасный план спасения САДА.

Ерунда все это! Это же фамильное имение!

Лопахину трудно пробиться сквозь их кажущееся невнимание.

Обсуждения не получилось. Разбить САД на участки? Какая чепуха! Этот план дик для Гаева и Ранев-

ской. Она, даже не вникая в подробности, резко отменила доводы Лопехина. Его никто не слушает, потому что для этих странных людей само понятие «продать сад», разделить на участки и сдавать — неприлично! Безнравственно! Разве можно разделить на части душу, сердце?

Гаев покраснел от оскорбления (поднялось давление) и стал доказывать Лопехину, этому мужлану, что Вишневы сад это национальная и родовая гордость (Софиевка), что у них столетние корни, гены со старинными вензелями, что их предки Рим спасли, что с САДОМ так обращаться нельзя. И возникает монолог о шкафе. Эта драка с ветряными мельницами.

Лопехин слушает этого старого, никчемного ребенка-помещика и не знает, как себя вести. Ему так хочется помочь им, а они ему мешают, ничего не понимают. Не понимают, что здесь все надо перестроить и расположить по-иному. Между ними — стена непонимания.

Лопехин понял, что говорит с глухими, и постепенно уходит на второй план. Подумайте, мол, через недели две приеду!

Гаев злится на сестру. Это она, не подумав, сразу все испортила. Хотя бы посоветовалась с ним, надо было бы обсудить проект, может быть, Лопехин вложил бы в это деньги? Ей хорошо, укатит снова в Париж, а нам как прикажете жить, черт бы ее побрал! Но и этот мужлан тоже хорош, какой нахал, что предложил!

Раневская оправдывается, старается объяснить, почему отказалась от дурацкого плана Лопехина. Изливает свое волнение на Петю, который так не вовремя пришел. Гаев злится, хотя старается сдержаться.

Оставшись наедине с домашними, Гаев возмущается поведением сестры. Откровенничает с Варей (это им — постоянно здесь жить и терпеть нужду, а она сядет в поезд и укатит!). Гаев почувствовал, что последняя реальная возможность спастись упущена, разозлился, заочно выругал сестру, назвал порочной, обвинил во всех бедах.

Что это, ненависть? Он действительно так думает?

Мои родственники очень любят друг друга. Но все время критикуют, сплетничают друг о друге между со-

бой. Но посмей кто-нибудь из посторонних сказать хоть одно худое слово в адрес кого-либо из них — все родственники встают на его защиту. Так и Гаев: «Он любит сестру, Аню, Варю, но критикует их. Мои хорошие, любимые родственники очень похожи на эту гаевскую компанию. Они немного непрактичные, наивные. В конце двадцатого века живут по правилам конца девятнадцатого, они не от мира сего. И это прекрасно!

Аня — Не надо, дядя!

Ему стало стыдно. Он обнял племянницу и, наверное, для того, чтобы успокоить ее и себя, стал сочинять фантастический план спасения САДА. Вдохновился, сам поверил в свои фантазии и стал убеждать других, что все будет хорошо. Прекрасно, когда тебя, уже потерявшего надежду, кто-нибудь убеждает в том, что все будет хорошо!

А дальше что? Все зевают, всем очень хочется спать. Зевают, зевают в самых патетических местах, даже тогда, когда Гаев убеждает Аню, что не все еще потеряно.

Вот основной узел первого акта — возникли две силы: деловое предложение Лопахина и непрактичные фантазии Гаева.

Я тоже фантазирую, стараюсь ощутить атмосферу жизни усадьбы, угадать желания героев. Вспоминаю похожие ситуации из своей жизни, случаи из моего прошлого. В такие минуты я самый счастливый человек. Сочиняю для себя детство Раневской и Гаева, стараюсь представить, как они жили, во что играли, где бегали, как учились. Все ли было так хорошо, как им сейчас кажется? Когда приехала Раневская, она с трудом узнала Дуняшку, Петю, Фирса (он совсем развалился), а Лопахин-то с иголочки одет. Впрочем, как можно анализировать, выстраивать эту самую лучшую пьесу А. Чехова? Я, вот, разложил «Вишневый сад», как пасьянс, по событиям, выстроил ряд. Как будто бы все образовалось. Но перечитываю эпизоды и ощущаю, что самое главное ускользает от меня. Разве можно загнать в схему воздушных балерин Дега? Или, скажем, мазурки Шопена — что от них останется? Чем я занимаюсь? Читаю реплики, и возникает нечто неповторимое, очень знакомое и в то же время совершенно не-

знакомое — я слышу дыхание жизни, судеб людей, прошлого и настоящего, твоего и не твоего, я слышу шорохи, голоса, движения, я ощущаю бытие. Воздух. Это раздумье о поколениях, которые приходят и уходят, о мечтах, о начале жизни и ее конце, о нас. А что там впереди?

Бабука говорит мне по секрету: Миша, куда мы идем, впереди никакого просвета! И наши разговоры о Хелтубани — к сожалению, миф, потребность самоутвердиться на проваливающейся почве. Есть квартира с протекающей крышей, захламленная, неотремонтированная, а в ней комната с куклами-марионетками, фотографиями выцветших, когда-то имевших успех спектаклей, старые никогда не убирающиеся шкафы... А совет Лопахина все переставить и переделать не принимается во внимание, так и живем в проходной комнате, боимся утратить центральное положение в квартире. В случае чего его тут же займут другие. И все же, во всей этой неустроенности, с разговорами о прошлом величии, которое немного надумано, оно, это прошлое, имеет свое обаяние, и люди дорожат им.

Что делать с Вишневым садом? Приехали, собрались все вместе, чтобы что-то решить. Не смогли. Как будто в доме тяжелобольной. Он лежит где-то в других комнатах, а мы все собрались здесь, знаем, что дни его сочтены, и не можем решить, как нужно вести себя, когда его не станет. Что делать с САДОМ?

Утро. Дождь перестал. В кустах на паучьих сетях как алмазы сверкают застывшие, огромные капли. Тишина. Утро Петинного романа. «Пойдем, пойдем, родная...» Варя уводит Аню. Далеко за садом — пикколо. Конец первого действия.

ВТОРОЙ АКТ

Л. Фейхтвангер назвал эту пьесу «Улыбкой Джоконды», настолько она таинственна. Вероятнее всего, эту пьесу я уже не поставлю, но иногда буду заглядывать в нее, что-то вспоминать, размышлять о дне сегодняшнем и дне вчерашнем. Какой здесь А. Чехов, грустный или ироничный, осенний или весенний?

На бугре — большие камни, поросшие разноцветными мхами и лишайниками: зелеными, желтыми, серыми. Вокруг — бессмертники. Отсюда видно, как стада возвращаются в деревню. Коровы сами расходятся по своим дворам. Тишина необыкновенная. Мы сидим где-то на пригорке и смотрим на заход солнца.

Ренуар пишет свой Париж, занимается музыкой красок, переживанием цветочных пятен. Но главное для него — Париж, его дух, жизнь. У нас за окном — палисадник, а в палисаднике — фиалки. Я люблю эти цветы с самого детства и с удовольствием наблюдаю за ними. Они как живые. Только не надо торопиться. Надо постараться увидеть, услышать, почувствовать в них жизнь. Фиалки просыпаются рано-рано, вытягиваются, оглядываются по сторонам, ищут соседей, здороваются, и потом все вместе, пошли, пошли головками вверх, стараются поймать лучи солнца. А к двенадцати часам прячутся под листьями, все исчезают куда-то. Или вдруг льет дождь! Если он «слепой» — дождик вместе с солнцем — это восхитительно, это праздник для моих фиалок. Попробуйте прислушаться к ним — можно услышать, как они сплетничают, обсуждают только для них понятные проблемы. Разве это нельзя сыграть в каком-нибудь этюде? А настоящий театр начинается с этюда, а не со слов.

Сегодня утром в парке я был свидетелем нежного собачьего романа. Он увивался около нее, обнюхивал, а потом была у них любовь! И вдруг появился хам (и среди собак есть такие). Налетел, набросился на нашего кавалера, вцепился ему в глотку. Тот взвыл от боли, заскулил, лег на спину. Но зверь-хам не отступал: все здесь мое, только мое! Джентльменство, рыцарство были ему непонятны. Наконец, он бросил неудачника и, разгневанный, ушел. Побезденный, поджав хвост, отошел в сторону, подчиняясь хамской силе. А дама лежала, не двигаясь, как будто все это ее не касалось.

Я шел и думал, что и мы, люди, часто бываем такими же хамами, зверюгами. Может быть, мы не вгрызаемся в горло ближнего, но ведем себя часто не по-людски. Это закон хамов — хамить. Ненавижу!

На траве огромная цыганская шаль. На ней разлеглись простолюдины. Сняли обувь, поигрывают паль-

цами. Дуняшка хочет стать такой, как Аня, такой же нежной, мечтательной барышней. А у самой 40-й раз мер ноги. На Яшке желтый жилет в клетку, он курит сигару. Ему уже невозможно жить в этой дикой стране, не подходит она ему. Он и матери собственной уже стесняется. Ему нужна другая культура, другая, французская любовь. А Епиходов, ворона в павлиньих перьях, книжки читает. Правда, ничего в них не разбирает. Разыгрывает из себя аристократа, прости его Господи! Страшно от этой аристократии. Слава Богу, в четвертом акте Лопахин станет хозяином усадьбы, загрызет Епиходова, тот подожмет хвост и начнет работать.

У Епиходова пистолет в руке. Прежде чем купить его в городе, долго выбирал у прилавка, чтобы все посетители магазина увидели, чем он занимается. Если человек покупает пистолет, значит, он не шутит. И на эту тему можно сыграть этюд.

Пришел, сел толстой задницей на могильный камень. Надпись, правда, стерлась, но ведь этот камень — человеческая память. Сидит и смотрит на лежащую парочку. Этакая хамская деликатность. Поет романс ужасно. Может быть, он правда влюблен в Дуню, а, может быть, ему просто нравится притворяться влюбленным. Страшный мужчина, за себя и свой темперамент не отвечает. Хотя, по сути, Епиходов человек без темперамента. Ему нравятся всякие переживания. Возбуждись, идет к речке и, не раздеваясь, прыгает в воду. Или вот как сейчас, делает вид, что хочет застрелиться или кого-нибудь (наверное, Яшку) пристрелить. А, может быть, Дуняшку, которая вся набухла от любви. Она неопытная и слишком липнет к Яшке. Ей надо всех оповестить о своей с ним близости, дура деревенской! Он говорит: слушайте, не лезьте ко мне, сейчас господа придут! Нет, это тебе не девочки в Париже, те все понимают.

Какие они, эти люди, которых раньше дальше кухни не пускали, а сегодня (демократия ведь наступила) они шляются по барским комнатам, рассуждают, читают по телевидению людям мораль, учат всех уму разуму?

Цыганская, с большими розами шаль. А на горизонте трубы, дым. Может быть, гудят телеграфные провода. Вспомним, как гудят провода. Возможно, по ним сейчас передают телеграмму из Парижа для Раневской: «Приезжай, не могу без тебя!» или телеграмму от Аниной бабушки: «Деньги выслала!»

Каждый занят своим делом. Шарлотта вынимает из кармана огурец и, похрустывая, жует. Может быть, она только что сорвала его, пройдя огородом. Кто она — Шарлотта? Без роду, без племени. Лежит с закрытыми глазами, разговаривает. Потом открывает, смотрит, как в небе плывут облака. Ждет. Иронизирует над троицей. Клоунский персонаж. Взяла ружье. Для чего? Чтобы охотиться? Вышла на перекресток тропинок, где полянка, возле леса. Солнце садится. Рядом кусты ежевики, есть уже и спелые ягоды. Какие-то поздние птицы поют. От бабушкиной телеграммы, за которой все пошло, зависит ее будущая жизнь. Даст бабка денег или нет, заплатят проценты или нет?

Ну вот, наконец, слышатся голоса. Яшка вскочил, оттолкнул Дуняшку: быстро к реке иди, уходи отсюда!

Вот и Аня в детской матроске.

Мы в детстве тоже носили матроски.

Трости, палки, веера, букеты полевых цветов. Раневская возбуждена. Она возвращается из города чуть-чуть подвыпивши. Вроде бы поехали за телеграммой на станцию, а зашли в ресторан. «Зачем так много пить, зачем так много есть, зачем так много разговаривать?!» — говорит Раневская. Вспоминает Париж, его. Слегка пританцовывает, вспоминая, немного все приукрашивает.

Сели, заговорили не о том, о чем надо бы говорить. Замолчали. Никто ничего не предпринимает, потому что в вену уже сделаны уколы, какие можно. Ничего не помогает. И экстрасенсов пробовали, и знахарей. Все ждут чего-то. Может быть, знаменитого чеховского звука лопнувшей струны?

Три разных способа (системы) жить.
ГАЕВ, РАНЕВСКАЯ — «Наши предки Рим спасли». Жить прошлым.

ПЕТЯ — Ничего не предпринимая, мечтать и звать
к лучшей жизни.

ЛОПАХИН — ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ.

Лопухин! Он ведь специально приехал. У него очень много дел, но он все бросил и приехал спасать Вишневый сад. Он нашел прекрасный выход, он все сделает сам, он их спасет, он спасет Раневскую, самую необыкновенную женщину на свете!

Или они ничего не поняли, или оглохли? Он старается им объяснить, вдолбить в их непрактичные головы, что, чтобы спасти умирающего, надо действовать! Неужели они не понимают, что этот Сад уже никуда не годится? Или под этим названием они подразумевают нечто другое? Для него Сад — это сад — деревья — дрова, которые можно продать, а дом — старая разваливающаяся постройка, а для них, может быть, Вишневый сад — совсем иное? Дух, память, прошлое, ценность!?

Лопухин бесится, страдает, уговаривает — никакого толка. Господи, они говорят совсем о другом. Говорят, говорят (ибо от избытка сердца говорят уста), и все не о том. Стараются прикрыться словами. Лопухин не прикрывается, ему надо вырвать Вишневый сад из рук конкурентов, надо бороться за него. Надо спасти прошлое: отец и дед крепостные, а он может стать владельцем САДА, КУПИТЬ его! Но у них, у этих ничемных людей, есть нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги! В этом-то все и дело!

Солнце село.

КАК ЖИТЬ? Жить прошлым, делать настоящее, мечтать или много работать? Призывать к прекрасному будущему и ничего не делать, чтобы приблизить его? Как жить дальше? Исчезли старые взаимоотношения (барин, хозяин, слуга, конторщик, ученый, кухарка, крестьянин) и возникли новые: все люди равны, силен тот, у кого есть деньги или кто умеет делать дело. Деньги решают все проблемы, все взаимоотношения. Исчезла духовность.

Жена сторожа дачи в Кикети работает буфетчицей в Доме правительства. И он решил, что Кикети принадлежит ему. Он хам. А вот такие люди, как Лопухин, пришедшие от земли, из купечества, большого

дела, впитали через Раневских интеллигентность, очень большую культуру и потом послужили этой культуре. Фактически в России все самые большие дела, начинания делались купцами. Они строили театры, открывали музеи. Любопытный снимок-фотография: купец Морозов стоит у строящегося здания Художественного театра и передает мастеру кирпичи. Театр построили за два года. Они умели делать деньги и учились у интеллигенции, у обедневших дворян.

Лопехин преклоняется перед Раневской, может быть, даже влюблен в нее.

Я помню женщину, рядом с которой мне, тогда еще почти ребенку, хотелось быть. Она была намного старше меня и давала мне то, что нельзя было купить. У нее было все особенное: как она одевалась, как ела, читала, отдыхала в гамаке.

У Раневской есть что-то притягивающее как магнит, она всегда — центр.


«Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом», — говорит Аня. Каждый из них, может быть, кроме Шарлотты, приблизительно наметил себе место в будущей жизни. Приблизительно, чувственно. Но это все — фантазии, нереальные проекты. Гаев что-то болтает насчет банка, но кто его примет в банк? В банке нужно работать, а Гаев не умеет работать.

Он ведет возвышенные разговоры о морали, долге, о генах, а сын Капитона из Зугдиди предложил нам сделку (я продаю, вы покупаете, деньги на бочку, берите квартиру!) Мы возмущаемся (Трофимов и Аня), проповедуем порядочность, идеалы, духовность. А сын Капитона глух к этой духовности, он нас не слышит. Да и мы уже не верим, что в будущем можно будет что-нибудь изменить. Петя еще верил.

Или что делать с этим Фирсом, забальзамированным еще в прошлом веке?

Как сегодня надо жить? Идеалами прошлого, деньгами, революцией, свободой (а что это такое? Свободой от чего?) или еще чем-то?

Спорят Петя и Лопехин. Они не могут прийти к согласию, потому что не понимают друг друга, у них разный кодекс нравственности, у них разные этические нормы поведения, законы бытия, они говорят на раз-



ных языках, как когда-то в Вавилоне. Гаев хочет спасти Вишневый сад, но не знает как. Знал, но забыл. Раневская тоже не в состоянии. Старается докопаться до причин несчастья их семьи: наши грехи! То, что предлагает Лопухин, для нее безнравственно, это не для нас.

И вдруг, как из преисподней, этот страшный призрак — ПРОХОЖИЙ! Клянчит деньги на водку. Бродяга с наглыми глазами, играющий интеллигента. Это особый тип людей, им все можно, вернее, они сами себе все позволяют. Они не знают стыда, от их наглости краснеют окружающие, а не они. Другой жизни им и не надо. Они иногда даже талантливы, так или иначе образованны, и это страшит еще больше. Иронически относятся к этическим нормам общества. Может быть, это и есть СВОБОДА? Тогда я не хочу ее. Рядом с ними страшно.

В жизни мне приходилось встречать подобных людей, и я всегда сторонился их.

Раневская получила еще одну телеграмму из Парижа. Я думаю, внутренне она уже предрешила, что вернется в Париж, здесь она не сможет жить. Издали, из Парижа, имение и Сад выглядели романтично, красиво, а на самом деле все оказалось по-другому. Она рвалась сюда, в свое детство, насочинив свой собственный вишневый сад, родину, но... Нет, она уже не может покинуть свою мансарду, Париж. Она привыкла к иной жизни. И потом этот могильный камень Гриши. Ему было всего пять лет! Нет, нет, надо уезжать... Хорошо приехать в Россию на месяц, на два, ну, на три, но навсегда?.. Вот Гаев не сможет жить в Париже, потому что он как ВИШНЕВЫЙ САД, как Фирс, он — здешний, он врос в эту землю, этот городок.

Куда-то, в мечту зовет Петя Трофимов, и Аня идет за ним. Идет влюбленная в его идеи, в его веру, в его революционный романтизм. Мечтает о возвышенном, красивом, жертвенном. И вот она уже в воображении идет босиком по пыльным, грязным дорогам и несет людям веру, счастье, проповедь добра! И она верит, что в небе засверкают алмазы! Ах, она бедная-счастливая! Ведь в ее будущей жизни все будет наоборот. Будет нужда, неустроенность, не будет семьи,

не будет любви. Будут уроки по чужим домам и чужой обед. И все же, несмотря на это, она всегда будет жить мечтой и надеждой.

Вычитал мнение Чехова о героях. Раневская: Хорошая дура. Одета не роскошно, но с большим вкусом. Очень добра, рассеянна, во всем раскаивается, всегда на лице улыбка. Нет, я никогда не хотел сделать эту женщину угомонившейся. Угомонить ее может только смерть. Раневскую играть не трудно. Надо придумать улыбку и манеру смеяться, надо уметь одеваться. Раневская должна выйти на сцену с уже прожитой жизнью. Она должна быть очень ласковой. На руках ее масса колец, причем эти руки все время ласкают, гладят вещи, мягко дотрагиваются до людей.

Лопухин: Послушайте, он не кричит. У него же желтые башмаки, и тут много денег. Роль комическая. Роль центральная. Если Лопухин будет бледен, то пропадут и роль, и вся пьеса. Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова, надо сие понимать. Он мягкий человек.

Аня: Молоденькая артистка.

Варя: Приемный 22 лет. Роль комическая.

Звук во втором и четвертом акте должен быть коротким и издали, 4-й акт должен длиться двенадцать минут, а не как во МХАТе — сорок.

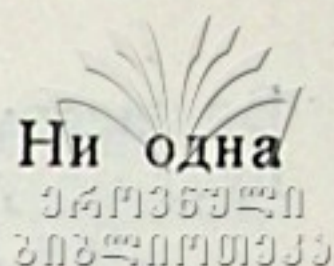
ТРЕТИЙ АКТ

В глубине огромная белая стена, потеки на потолке. Где-то слева, в глубине комнаты — небольшой макет воздушного шара, на котором в Париже летала Аня. Он то опускается вниз, то поднимается высоко-высоко. Как барометр настроений Ани. Даже в темноте он светится изнутри.

По диагонали большой стол и стулья. Стол хорошо сервирован на двадцать персон. В одном углу стола свечи, как у изголовья покойника. На столе очень богатая вязаная скатерть, спускающаяся со стола и лежащая ковром на полу. По ней ходят. Это скатерть-ковер.

На сцене постоянно стоят старинные мышеловки.

Фирс по этому делу большой специалист. Мышь, конечно, на сцене не ловится.



Ни одна
ЭРМЭЭЭЭЭЭ
ЭНЭЭЭЭЭЭЭЭ

Спектакль сочиняется, как поэтический рассказ, иногда даже не очень прислушиваешься к автору. Оттолкнувшись от пьесы, лучше придумать, насочинить свой мир, а потом уже, если это хороший писатель, как Чехов или Софокл, спросить у него: это можно или нельзя? Самый счастливый момент творчества для меня — момент сочинительства, когда я ничего не боюсь. Тогда жизнь героев, моя и моих знакомых сливается воедино, тогда я провожу железную дорогу от Харькова до ближайшей станции, близ имени Раневской, строю усадьбу, определяю, где обитает бабушка Ани, интересуюсь, в какой квартире живет Епиходов? Или этот еврейский оркестр: какие это музыканты, как пришли, как садятся, как играют? Где играют? За сценой или на сцене в полутьме?

Играет оркестр.

Третий акт — это страшный вечер. Я вижу какие-то огромные тени на стенах и потолке. Само освещение какое-то тревожное. Может быть, на полу стоят большие лампы-молнии (я помню такие в детстве) или свечи в канделябрах, свет идет снизу. Это создает особое настроение — когда чуть выпьешь и начинаешь что-то выдумывать: танцы в темноте, Шарлотта придумала маски какие-то. Кто-то говорит, что пришли ряженые. Для меня сейчас совсем не важно, откуда эти ряженые, потом выясню. Мне они нужны, чтобы создать атмосферу агонии, сумасшествия. Это надо придумать: пир во время чумы.

Трагический балаган Шарлотты. Она в клоунском костюме. Все как бы забыли, что их ждет. Родители Шарлотты когда-то работали в цирке.

Я люблю наблюдать за циркачками. Не на арене, а в кулисах. Это совершенно непохожий ни на что мир. У них свой жизненный стиль, постоянные тренировки, запах опилок, зверей. Они все клоуны, их дети обязательно становятся циркачками. «Кто я такая, кому я нужна? Завтра они продадут этот дом, а мне куда идти?»

Все стараются говорить обо всем, только не о

Вишневом саде. Раневская с цилиндром на голове танцует мазурку.

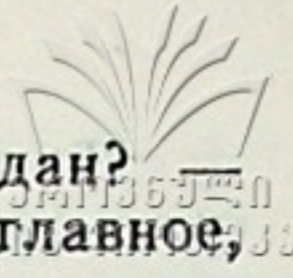
Лия Элиава рассказывала мне, как после ареста ее родителей она с бабушкой жила в подвальном помещении. Бабушка учила ее танцевать мазурку. Этот эпизод нужно использовать. Раневская обучает Петю танцевать мазурку! Он сопротивляется, она заставляет и от этого получает удовольствие. Странная женщина, рядом с ней, вероятно, трудно жить.

Потом Раневская вдруг начинает говорить о Варе, Лопухине, старается отвлечься от главного, но где-то подспудно волнуется за судьбу близких ей людей. Она ждет чуда, на что-то еще надеется, хотя прекрасно знает, что Сад погиб. Как ей хочется сейчас напиться, забыться! Эти танцы, дурацкие фокусы, которые Шарлотта показывала уже сотни раз, гости — всего лишь щит от страха перед неизвестностью, всего лишь попытка убедить себя и других, что в жизни все в порядке, что ничего особенного не происходит. Потом пожалела.

И вот она, поначалу владея собой, а потом постепенно теряя контроль, спорит с Петей, старается сделать ему больно, как будто бы Петя во всем виноват (при нем погиб Гриша), пытается израсходоваться в споре. Петя, худой, длинноволосый с вечной книгой в руках, сперва что-то, по-своему увлеченно, ей доказывает, а потом теряется, приходит в ужас от ее прямооты и убегает. Падает где-то на лестнице.

«Незаметно для людей входит УЖАС», — так писал об этой сцене В. Мейерхольд. Кто-то вальсирует, кто-то гнусавит под гитару. Все подвыпили. Хохочет Яшка (он привез из Парижа волшебный фонарь и теперь показывает голых дамочек), злой, противный. А персонажи ходят через луч, отчего на белой стене — страшные, огромные тени. Яшка — сатана, в третьем акте он правит бал, заполняет все игровое пространство, дирижирует оркестром, оглашает все кругом своим гнусавым голосом, поет заграничные песни. Наглость прет со всех пор — он присваивает себе право жить так, как ему угодно! Ненавижу!

И вот в этом Содоме, Аня, через людей, через все огромное пространство страны, кричит Раневской: кто-то сказал на кухне, что Сад уже продан!!! Раневская



истощным голосом переспрашивает: кому продан? Как будто бы это очень важно сейчас. Ведь главное, что САД продан и нет его больше!

Стало тихо-тихо. Все куда-то разбежались по углам. Наверное, узнавать, кто купил? Только Фирс тихо шаркает по паркету. Застрял в прошлом веке — ничего не понимает. В тишине раздается голос Раневской: Куда ты пойдешь? — Куда прикажете. — Страшная реплика.

Появляется взволнованный Яшка. Он понял, что Раневская уедет в Париж. Хочет выклянчить, выпросить ее согласие на его отъезд. Ему надо в Париж! Он уже у себя на родине жить не может, он перерожденный.

Вбегает Пищик, приглашает Раневскую на танец. Медленно вальсируя, они исчезают. Тишина.

И как реакция на эту тишину — ХАМЫ ВО ДВОРЯНСТВЕ.

Хохочут, хохочут, как в Вальпургиевой ночи духи зла. Яшка и Епиходов нализились. Последний объясняется с Дуняшкой, кричит. Все кричат и хохочут, каждое слово вызывает у них хохот, смешно это или нет — все равно. Хохот без смысла — когда главное удовольствие — хохот, а не смысл. В полумраке со свечей в руке кружится в вальсе подвыпившая Дуняшка. Яшка в центре!

И вдруг — истерика Вари, изгнание из рая. Она хватается кий и гонит всю эту обнаглевшую прислугу вон из барских комнат на кухню, во двор. Она вне себя. Все по местам!!!

Пауза! Все замерли, застыли, как на панихиде. Молчат, ждут чего-то.

Появляется Гаев, старается скрыться от сестры, проходит к себе. Слышится стук бильiardных шаров. Постепенно замирает оркестр. Раневская спрашивает: продан Вишневый сад? Кто купил? И вот здесь, тихо, как бы извиняясь, после паузы, Лопахин:

— Я купил!

Пауза. Варя бросает ему связку ключей. Звук — точка.

Лопахин выпил для храбрости. Он произносит программную речь: я здесь хозяин! Теперь Я! (Вот момент извержения вулкана в пьесе). Я купил, хотя он мне и не очень нужен. Это была моя мечта, быть где-то рядом с этой необыкновенной женщиной!

Что они теряют?

Раневская — прошлое, все, чем она была богата. Она уедет в Париж, будет жить в мансарде. Гаев — усадьбу, поместье, Фирса, центр жизни. В банке, если даже он устроится там на службу, его скоро раскусят и выгонят. Аня — детство. Будет учительствовать, нуждаться, мечтать о небе в алмазах. Фирс — жизнь. Все. Дуня — добрых хозяев. Лопахин всех заставит работать. Не будут — выгонит. Яшка — немного поживет в услужении у Раневской в Париже, пока у нее будут деньги ярославской бабушки. Потом займется рестораном. Епиходов — Лопахин его выгонит. Он уже не сможет работать. Варя — будет работать экономкой, очень хорошей, или уйдет в монастырь. Петя — так всю жизнь и будет проповедовать. Потом станет противником революции. Может быть, умрет «во глубине сибирских руд». Лопахин — будет делать деньги, дело. Всю жизнь будет вспоминать о Вишневом саде. Забудет, что он из мужиков.

«Вишневый сад» — как музыка. Это о жизни, которая начинается и подходит к концу, это о духовном, о смысле жизни и о нашем неумении жить. «Вишневый сад» — шедевр. Это размышления о времени, о поколениях, которые уходят, о том ужасном, что приходит на смену, о неустроенности, об убежденности людей, что в прошлом все было гораздо лучше и интереснее.

Хорошо было бы рассказать обо всех нас, об обществе, в котором мы живем. Это будет так интересно. Поставить о нас смешной, но немного грустный спектакль.

Мы все были непрактичными, жили высокими материями, духовными ценностями, а материальные не очень ценили. Их просто никто из нас не умел накапливать. И не было среди нас Лопахиных. А они-то и делали дело. Рубили сады, создавали новые модели жизни, не боялись терять. Ну, а мы незаметно, постепенно теряли то, что не приобретается. Или это нам только так казалось!



Лейла сказала как-то: почему тебе нравится «Вишневый сад»? Отвратительные люди. Эта Раневская, ее брат постоянно ругают друг друга, ничего не делают. Все добро растранижирили, не смогли создать нормальной семьи. Слабые, ненужные люди. Сгноили сад. Кому они нужны? Сами в своих бедах виноваты.

А Роберт Стуруа написал о «Вишневом саде» — Чехов смеялся, ненавидел, жалел интеллигенцию, считая, что все зло идет из ее недр, из самолюбования... Не Лопухин виновен, виновата сама интеллигенция, и ей надо напоминать об этом хотя бы изредка.

Я с ними не спорю, может быть они и правы, но мне от этих мыслей грустно. Почему-то никто не помнит, сколько они сделали добра. Что-то хорошее и неповторимое все же ушло вместе с этими людьми. Они как белые журавли. Эти прекрасные птицы постепенно исчезают. Каждую весну мы ждем, сколько их прилетит на этот раз? Да и прилетят ли они вообще?

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ.

Ноктюрн и Мазурка (a-moll, op. 17 № 49) Шопена.

Репетирую не спеша. Удовольствие получаю необыкновенное. Четвертый акт затухающий. Не стучат уже биллиардные шары. Все прячутся по углам, каждому хочется хотя бы на секунду остаться наедине с домом. Раневская вынимает из рамки групповую фотографию своего семейства. Там, в Париже это будет самая дорогая реликвия.

Вишневый сад продан, и надо начинать жизнь сначала. НАДО УСТРАИВАТЬСЯ. Они разъедутся по городам в поисках другой, реальной жизни без мифа о Вишневом Саде, которому в энциклопедическом словаре посвящены несколько строк. Надо зарабатывать на хлеб насущный. Разбредутся по урокам, станут гувернантками, служащими, чиновниками, студентами, научатся жить от жалованья до жалованья. При этом они делают вид, что ничего особенного не происходит. Просто они очень хорошо умеют скрывать, что грызет их изнутри. Они растеряны, подавлены, но улыбаются, притворяются, что все в порядке. Эти финальные сцены надо играть «весело», и это еще больше подчеркивает их обреченность.

А НОВЫЕ устраивают жизнь так, как им требуется — делают дела, строят дома, магазины, открывают офисы, обеспечивают свое будущее.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ.

Мы, режиссеры, должны быть интеллигентны, вежливы с актерами, потому что они самые несчастные, зависимые люди на земле. Когда мы проваливаем спектакль, то обычно прячемся в кулисах, а они, бедняги, на сцене, выставлены на обозрение толпы. Нет, я за актеров! Актеры беззащитны. Они не могут спорить с режиссером — вдруг он не даст им роли. Они капризны, они отвратительны, они невыносимы, но без них мы — ничто. Они — театр.

Подготовка к отъезду. Связываются вещи, складываются чемоданы. Приходят прощаться крестьяне. Эту сцену вынести из текста в действие.

Последний спор Трофимова и Лопахина. Спор двух идеологий. Они не ругаются, они спорят и отстаивают каждый свою точку зрения. Вообще-то они симпатичны друг другу.

В первом акте Аня осторожно вынимает из сундука купленный в Париже прекрасный сервиз. В третьем акте сервиз на столе. А в четвертом его опять складывают в тот же сундук, каждый предмет заворачивают в материю или бумагу.

Фирса бросают на произвол судьбы. Невнимательные люди. Не заметили. Кто-то должен был это сделать, но кто?

Горе Дуняшки. Прощание с Яшкой. Ревет по-деревенски (может быть, она в положении). Он спешит от нее отвязаться.

Оптимисты делают вид, что все в порядке.

Страшная сцена с Шарлоттой. Последняя реплика: мой ребеночек, бай-бай, замолчи, мой хороший, мой мальчик, мне тебя так жалко... Ее одиночество. Все должны быть потрясены.

Пищик отдает долги. Самый счастливый человек! Он очень активен, очень встревожен, сентиментален. Пищик — в постоянном движении, заботах — одолжить, занять, вернуть, достать, опять занять, вывернуться,

спастись от нужды... Выясняется, что он многим должен.

Раневская пытается устроить Варю. Сводит ее с Лопахиным. А сама должна ему сорок тысяч. Ой, как много!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — смешно и грустно. Во время объяснения с Варей Лопахин вдруг обнаруживает спрятавшуюся за шкаф Раневскую. Очень неловко. И ничего с предложением не вышло. А, может быть, просто не решился, и никакой Раневской за шкафом не было?

ШУМНЫЙ ОТЪЕЗД. По комнатам ходят какие-то люди. Здесь же и этот отвратительный, наглый прохожий со второго акта. Помогает вынести из дома корзины, сундуки. Хамы лезут изо всех щелей-дверей, заполнили собой все пространство, каждый требует своего, но Лопахин всех заставляет работать. Все ходят взад-вперед, как на вокзале. Раньше спрашивали: можно войти? А сейчас прут, звонят, нахально и нагло. И Епиходова заставили работать. Лопахин не будет платить деньги бездельникам. Дуняшка сразу превратилась в прислугу, Яшка старается услужить Раневской, чтобы она его взяла с собой. По сцене разгуливает символическая фигура хама. Что ему нужно здесь, кто впустил его сюда, кто звал? Хамье сразу восприняло лозунг «Свобода, равенство, братство!», захватило все, вытеснило приличных людей, стало вдруг образованным. А образованный хам еще опасней и страшней безграмотного.

Все шумят, двигаются, выносят вещи. На сцене много народу. Входят, выходят, забывают, ищут, складывают. Аня, обращаясь к воздушному шару, кричит: Прощай, старая жизнь! И шарик опускается, как живой. А потом, медленно поднимается. — Здравствуй, новая жизнь! — кричит Петя. И эти реплики много раз повторяются (реверберация) во всем театре, фойе, как эхо в ущелье.

Оплакивание детства. Гаев и Раневская только один раз, перед самым концом остаются одни. Как когда-то в детстве, вот в этой комнате. Вероятно, они уже никогда не увидятся. Они подходят к огромному ореховому, никому уже, кроме них, не нужному шкафу и тихо плачут. Потом неожиданно, как будто случайно, бросаются друг к другу в объятия.

Конец детству, прошлому, жизни! Потом, Гаев вдруг

отходит, поднимает с пола старый журнал «Нева», где описывается война в Порт-Артуре. Почему-то складывает его и прячет в карман. Опять подходит к шкафу.

Этот шкаф будет во всех четырех актах. Ему никак не могут найти места: в первом он торчит впереди и всем мешает ходить, все его обходят, во втором он где-то совсем в глубине, как силуэт прошлого, в третьем акте он где-то в другом месте, а в четвертом опять на переднем плане. Он потерял ориентацию и не знает, где ему надо стоять. Забыл. Его, как неприкаянного, будут переставлять с места на место, и все кончится этим шкафом. А на шкафе — вензель, раньше такие вырезывали с задней стороны, и в нем весь генетический сгусток прошлого, которого уже нет. Ведь этот шкаф — символ чего-то очень важного, важного только для них, для меня, непонятного — для других.

Лопухин говорит: кому нужно это старое здание, его надо сломать и построить новое.

На днях я проходил мимо нашего старого дома, где прошло мое детство, и вдруг заметил, что окна в нашей спальне нет, его замуровали. Так же, как нет наших старых красных ворот. Нет сада, нет по весне всегда цветущей алычи, нет тутового дерева. Я чуть было не заплакал. Для новых здешних жильцов — это просто окно-дыра, просто дерево тута, просто ворота, а для меня это — символы, свидетели многих событий и переживаний. Сколько чего происходило возле моего окна! Даже будучи на войне, я часто вспоминал его. Вспоминал, как рисовал, выглядывая из него, сапожную мастерскую и кипарисы, как следил из этого окна за одной девочкой, в которую был влюблен, как стучал в него мой школьный товарищ, и мы шли гулять вечером по проспекту Руставели. Кругом все перестраивается, строятся новые дома, а мне доставляет удовольствие рассматривать старые. Они мне что-то очень важное напоминают. Как этот шкаф для Гаева.

Лопухин сидит за столом, а Гаев и Раневская его не замечают. Он для них сейчас не существует. Они в прошлом, а оно всегда прекрасно. Брат и сестра, уже пожилые люди, может быть, впервые за много-много лет обнялись и тихо заплакали, как дети.

Вот так, мой внук, когда упадет и разобьет себе колено, плачет горько огромными слезами. Обида на

все человечество! Одна большая обида и бессилие. Мне кажется, здесь чувственный центр всего спектакля.

Выносят чемоданы, плетеные корзины, отделанные кожей.

Ездили тогда солидно, не так, как мы — налегке. Возили с собой целые гардеробы в чемоданах со специальными прослойками, для укладки костюмов и платьев. Я помню, такие чемоданы были у Георгия Давиташвили. Сами господа едут на фаэтоне, а за ним подводы идут.

Главное здесь — беспокойство, неустроенность, неуверенность в завтрашнем дне. Вот так и прожили всю жизнь, как-то непутево. Рушится патриархальная семья, ее устои. Что будет завтра?

Хорошо было у Питера Брука — Гаев под конец сидел на высоком чемодане и по-детски болтал ногами: беспомощный, непрактичный, никчемный, невыросший ребенок.

В финале все рассаживаются на минуту. Притихают на мгновение. Какой-то длинный-длинный удаляющийся звук. И вот он совсем исчез. Пауза. Замерли все. Как для семейного портрета. Последнего. Но их, конечно, никто не фотографирует. Потом не спеша встают и расходятся. В разные стороны.

Дождь идет, и потому во всех комнатах опять расставлены тазы, ведра. Крыша протекает, и ее уже невозможно отремонтировать. Это конец!

Это — пьеса-прощание! Прощание с нелепыми, но лучшими людьми. В этом есть какая-то тайна, тайна жизни и театра. Нечто невыразимое, неуловимое, бесплотное, как в лирике. Это о моей жизни, это о нашей жизни. О всех моих, живых и ушедших. Каких-то неприспособленных, добрых, но непутевых, никогда ничего не имевших, кроме духа и игры: в жизнь, политику, творчество. Мы непутевые, но без нас нельзя. Это основа цивилизации, немного смешно и грустно.

Голос прощания: — О, мой милый, мой нежный прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, мое алычовое дерево, кусты сирени и чайные розы, прощайте! Жизнь прошла, словно и не жил!

Фирс тоже готовится уходить: собирает свои пожитки в один небольшой узелок (все, что накопил, — он ведь ни разу не получал жалованья!), но все уже уехали. Пока он искал плед для Гаева, Епиходов забил досками вход, а Фирс не смог дозваться. Так и остался.

Дом умирает. Он свое отжил.

Окно в моем доме замуровали, и вся история на этом окончилась, история жизни моей мамы. И моей. Можно написать, насочинять монолог дома, который разрушили или неузнаваемо перестроили. Пришло новое время, пришли какие-то деловые люди, которые все переделали. Исчезло первоизданное, возникло нечто неестественное.

А Чехов говорил, что последний акт веселый! Может быть! Но не для меня!

Замкнулся дьявольский круг. В голове как будто — огромный чугунный шар. Он бьет по костям черепа, раздаётся треск. Кусочек неба вместе со звездами выпадает из купола мироздания, а из образовавшейся дыры, изнутри выглядывают химеры. Смотрят вниз на землю, на нас, людей, и придумывают всякие гадости, неприятности.

Темно. Горит свеча, и моя комната наполняется тайнами.

Как оживить мертвого актера, как научить его жить жизнью другого человека, переживать, страдать? То, что они делают — это давно знакомые театральные клише, может быть, иногда и смешные, но неинтересные. Я наблюдаю за потухающей, догорающей свечой: она гаснет, вздрагивает, борется за жизнь, переживает и страдает, утопая в собственном расплавленном стеарине. Вероятно, это и есть суть театра. Вероятно, только из-за этого ходит зритель в театр, чтобы стать свидетелем гибели, страдания, свидетелем или соучастником переживания. Увидеть свои страдания со стороны.

Вот она и потухла. И вдруг снова вспыхнула и снова потухла, теперь уже навсегда. Сгорела на костре, проповедуя откровения. Прощай, свеча! Вот так и человек, вздрагивая, угасает в конце своего пути, в конце спектакля.

ТЕНГИЗ БУАЧИДЗЕ



Казалось, так легко написать о друге, воскресить в памяти его образ, вспомнить некоторые черты его характера, не замеченные другими. Но, как видно, это не так-то просто. Действительно, когда пишешь о человеке, рядом с которым прошли десятки лет твоей жизни, начиная с юношеского возраста, априори надо признать взаимовлияние характеров людей одного поколения, поэтому мне трудно выделить «специфические», принадлежащие лишь Тенгизу Буачидзе черты, объективно воссоздать его неповторимый образ.

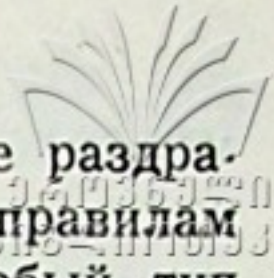
Я не хочу идти самым легким путем — говорить о его художественных произведениях, о его весьма значительных научных трудах, ибо и творчество является отражением духовного мира человека, или проследить его биографию, богатую, интересную (ведь в разное время он был министром культуры Грузии, секретарем Союза писателей, заведующим кафедрой русской литературы ТГУ, главным редактором «Литературной Грузии», председателем Фонда культуры Грузии, депутатом Верховного Совета ГССР многих созывов, народным депутатом СССР, председателем Комиссии парламента независимой Грузии) — такой подход вряд ли отразил бы внутреннюю драму, пережитую нашим поколением.

Трудным было детство Тенгиза Буачидзе, его семья на себе испытала жестокость большевистских репрессий, не менее трудной оказалась и вся последующая жизнь, а на склоне лет он потерял своего любимого зятя — мужа дочери, прекрасного молодого офицера Дато Нацвлишвили, погибшего в борь-

бе за территориальную целостность Грузии. Вскоре после этого он получил второй инсульт, мужественно боролся со смертью в одной из «лучших» больниц столицы, лишенных света и тепла.

В парламенте о наших потерях узнавали раньше других и старались как-то подготовить близких. Героическая смерть сына Чабуа Амирэджиби Ираклия совпала с днем рождения писателя. Но мы решили, следуя традиции, все же поздравить его с юбилеем, а потом уже сообщить ужасную весть. Каково нам было в зале, когда мы аплодировали! Так же мы «утешали» Тенгиза Буачидзе, говоря, что, во-первых, его зять мог и не быть в том самолете (сбитом, естественно, не «абхазскими зенитчиками!»), а, во-вторых, что погибли не все, он может оказаться среди живых. Мы сами не верили в это, и Тенгиз Павлович тоже не очень-то верил, но нам казалось, что несколько дней сомнений помогут ему подготовиться к горю. Нам показалось, что он стойко встретил беду, но нет, она окончательно его одолела.

Тенгиз Павлович был «на два курса» старше меня, для молодых людей это ощутимая разница, тем более, что мы учились на разных отделениях филологического факультета (он — на русском, я — на грузинском), но мы очень быстро подружились. С большим теплом вспоминаю я наши студенческие трапезы в его маленькой квартирке на улице Чонкадзе, доставшейся ему после известных репрессий, наши беседы. Он деликатно обходил тему о невзгодах своей семьи, мы говорили больше о литературе, о людях, нас окружавших. Он мечтал создать образ современного человека, «положительного» во всех отношениях героя в духе соцреализма, но с тем, чтобы читателю стало ясно, что именно он и является самым настоящим злом нашей жизни, гораздо большим, чем т. н. «отрицательные» герои. Таких людей, «настоящих коммунистов», идейных, честных, порою добрых, он называл «белой тенью», которая тем и страшна, тем и опасна, что по сравнению с настоящей тенью невидима. На таких людях держится система, именно они ее опора, а не те, кто явно обнажает свое лицо. Нам не надо было выдумывать таких героев, мы встречали их в повседневной жизни. Вот, скажем, один из таких людей: он ко всем доброжелателен, внимателен, может помочь в преодолении трудностей, думая о своей карьере, не пытается «утопить» конкурента, а просто избегает встречи с ним, находит иные пути доказать свое «преимущество» и доказывает. Он не замечает слабости ни старших, ни младших по положению. В



меру, не назойливо, не особенно выделяясь, чтобы не раздражать окружающих, следует писаным и неписаным правилам режима, «моральному кодексу коммуниста». Это особый тип советского человека, «настоящего человека». Однако на самопожертвование во имя хотя бы той же коммунистической идеи, которой, якобы, служит, он не способен. Это — ненадежный человек, он только носит маску надежного, может быть, даже не подозревая об этом.

Таких людей немало, в них особенно нуждается именно тоталитарная система.

К сожалению, Тенгизу Буачидзе не удалось воплотить в жизнь задуманное. Как видно, советской, в том числе и грузинской литературе тогда это было не по плечу. Тут требовался талант не менее мощный, чем у Сервантеса или Шекспира. Но, с другой стороны, ставить такую задачу перед литературой очень важно, и в этом отношении нельзя не отнестись к идее Тенгиза Павловича с большим уважением.

Мне кажется, эта мысль его никогда не покидала, он критически относился к себе и к другим. Может быть, этим и объясняется, что он нередко надевал на себя маску циника, высмеивал чье-то достижение, чей-то «добрый» поступок. При этом он умудрялся не вредить ни делу, ни личности, его совершившей. Скорее всего, это было своего рода предупреждением с его стороны — не всегда добро то, что кажется таковым, нельзя быть «белой тенью».

Тенгиз Буачидзе находился в своей стихии в кругу друзей за столом. Обладая даром красноречия, чувством юмора и остроумием, столь необходимыми качествами для руководителя грузинского застолья, он никогда не соглашался быть тамадой, но принимал активное участие в его выборе и тут же становился его оппонентом. Его остроумные реплики в адрес тамады, «полемика» с ним превращали обыкновенное дружеское застолье в истинный праздник.

Я не знаю другого такого человека, который мог бы обратиться к ближнему с обидными словами, не вызывая при этом в нем чувства обиды. Если он обращался к вам со словами «ше штеро!» («ты, болван!»), это значило, что он любит вас, недругам и действительно болванам он такое не говорил.

Тенгиз Павлович был полностью предан служению литературе. Перед смертью он организовал маленький кружок-семинар для молодых писателей и пригласил меня и Джумбера Титмерия принять участие в его работе. Он хотел передать



молодым писателям свои знания и опыт. Мы успели провести всего несколько встреч с молодыми поэтами и прозаиками. Он умудрился преподнести им свои мысли и замечания таким образом, будто сам был заинтересован в общении с молодыми коллегами и с их помощью хотел обогатить свой опыт и писательское мастерство. Это было проявлением настоящего искусства педагога, воспитателя. Увы, эти встречи в холодные, безотрадные зимние вечера продолжались недолго. Потом пришла смерть и навсегда разлучила нас...

Неважно, какое место занимал Тенгиз Буачидзе в грузинском литературном процессе, важно, что он нашел свое место, и никто не может заполнить его, разве только его творчество и воспоминания о нем.

Роман МИМИНОШВИЛИ



Нана ГВИНЕПАДЗЕ

ОРЕОЛ

«Запретите плач и траурные слова,
Бросьте спорить о моих высоких целях,
Возьмите мое сердце, разрежьте и... похороните
В сердце Отечества, на всех его рубежах;
Сожгите меня на костре среди величавых гор,
Пусть дым взойдет до самых звезд!
Возьмите пепел и в измученном моем краю
Развейте его от края и до края,
Чтоб родину свою я ощутила полностью».*

Автор этого стихотворения («Завещание») — Котэ Макашвили, известный грузинский поэт и общественный деятель. По инициативе К. Макашвили еще в 1917 году была основана Ассоциация грузинских писателей. Когда в 1921 году был образован Союз писателей Грузии, он стал его председателем и руководил им до самой своей смерти. Но таким ли уж долгим вышел этот срок? В 1927 году этот мужественный человек был сломлен, как могучий дуб, в который угодила молния. Словно предчувствуя свою судьбу, он писал: «Жаль, что не смог утолить жажды жизни...»

У Закария и Нино Макашвили было девять детей. Закарий рано ушел из жизни, но его старшие братья Соломон и Илья, впоследствии оба генералы русской армии, не бросили его детей на произвол судьбы. Особую заботу проявили они о

* Здесь и далее в тексте переводы стихов подстрочные.

племяннике Котэ, хотя она имела и обратную сторону — пятiletний ребенок оказался оторванным от родины. И когда он вернулся через три года из Карского района — а именно там служили его дядья — мать обнаружила, что сын ее вконец обрусел.

Сразу по окончании тбилисской гимназии в 1895 году юноша отправляется в Петербург. Близкие отношения с грузинским землячеством и дружба с Иванэ Джавахишвили принесли свои добрые плоды — он снова заговорил по-грузински. Довольный Котэ писал: «Бросаю писать стихи на русском языке. Энергично взялся за освоение грузинского: читаю «Висрамини», «Килилу и Даману», «Рождение», заучиваю наизусть «Витязя в тигровой шкуре» и постепенно грузиниваюсь».

В Петербурге Котэ получил юридическое образование, среди земляков же пользовался славой хорошего певца. Однажды они повели его к известному педагогу, учителю Шаляпина, Усатову. Прослушав Котэ Макашвили, тот сказал: «Юристов на свете хватает, я же сделаю из вас такого певца, сам Батистини вам позавидует». Стеснительный от природы Котэ отказался — он не рожден для сцены... Его больше прельщала муза поэзии, привычнее было молча поверять свои мысли бумаге; правда, в памяти сохранилась забавная история, когда, чтобы помочь своему безнадежно влюбленному другу, он исполнял роль Сирано, услаждая слух избранницы друга... пением. Так что на какое-то время ему пришлось-таки стать артистом.

Наконец настало время возвращаться на родину. XIX век был уже на исходе. Тот самый век, который, по словам Ильи Чавчавадзе, «...многое дал миру, новому же веку пока нечего сказать, кроме как: настал мой черед, да хранит вас Господь»...

На стыке этих двух веков замечательный поэт и гражданин Котэ Макашвили соединил свою судьбу с дочерью знаменитой грузинской писательницы Екатерины Габашвили Тamarой. На старой фотографии — только что обвенчавшиеся жених и невеста; невеста — сама доброта и скромность, жених — представительный и гордый, казалось, они рождены друг для друга. У этой благословенной четы, чьи нежные чувства хранят и поныне пожелтевшие письма, было пятеро детей: Маро, Шалва, Катунa, Нуну и Нугеша.

Героиня этого очерка — их первая дочь Маро (Мариам) Макашвили — родилась 25 августа 1901 года, как раз

под праздник Святой Мариам. Ее судьба тесно переплелась с судьбой Грузии — 19 февраля 1921 года 19-летняя Мариам отдала свою юную жизнь за ее свободу. Поэтому февраль в семье Макашвили пробуждает печаль, растрavляет старую рану — и сама Маро грустно глядит с фотографии, что висит на стене. В дни памяти перед этой фотографией, как перед иконой, обычно зажигают свечу...

Я рассматриваю альбом: маленькие Маро и Шалва с бабушкой Екатериной и дедушкой Александром.

— Мне здесь два года, — говорит Шалва Макашвили, известный грузинский художник, на долю которого выпало немало испытаний, но он и сегодня полон творческой энергии. Его картины воссоздают печальное прошлое нашей страны, неповторимую красоту природы и памятников зодчества. Вот и сейчас на его мольберте цветная композиция — Хертвиси — еще один немой свидетель бед Картли. А вот ванские пещеры, башни Хевсурети и Сванети. Горы — особая любовь художника. И не удивительно, ведь он бывший член общества «Шевардени», один из зачинателей лыжного спорта в Грузии; не раз принимал участие в соревнованиях за первенство Грузии и Закавказья. Пересек на лыжах Кавказский хребет. А в годы Отечественной войны обучил технике альпинизма 300 новобранцев...

— Обо мне ничего не пишите, — просит Шалва Макашвили. Но да простит он меня за то, что я «не прислушалась» к его просьбе. Нет, батано Шалва, без вас этот рассказ не получится...

Батони Шалва особенно любит стихотворение отца, посвященное Дню поэзии. В нем обыгрываются цвета грузинского флага, говорит он: «белая заря, черная угроза и смех кровавого кизила...» (живописец и поэзию воспринимает по-своему).

Сестра Шалвы Макашвили Нугеша всячески помогает мне. Она филолог и все материалы о Маро собраны ею листок к листку. Она знает цену каждой строке, она, вообще, все знает о сестре, пусть со слов матери и старшей сестры Нуну Эристави, поскольку родилась после гибели Маро. Маро погибла в феврале 1921 года, а в апреле, словно в утешение родителям, появилась вторая Мариам, хотя имя это, данное ей при крещении, сохранилось лишь в документах: как-то незаметно девочку стали называть Нугеша (в переводе с грузинского «утешение»).

Стол завален траурными номерами газет «Сакартвело»

(«Грузия»), «Картули ситҭва» («Грузинское слово») и «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»), различными записями, фотографиями...

— Когда к Тбилиси подошла 11-я армия, — вспоминает Шалва Макашвили, — я учился в последнем, восьмом классе гимназии. Мы с товарищами, все как один, решили отправиться на фронт, и наша Первая гимназия составила роту. «Ну, ребята, теперь дело за вами», — я и сейчас слышу дрожащий голос нашего учителя Сеита Яшвили. Придя домой, я объявил родителям: «Ухожу», — и они сразу все поняли. Ни мать, ни отец не стали отговаривать меня, да и какой в этом был смысл!

Все благословляли нас. Знакомые и незнакомые. На площади, где мы собрались, стояла толпа горожан, и каждый старался сунуть нам что-нибудь в карманы. «Держитесь молодцами», — слышали мы со всех сторон...

— А куда вы направлялись?

— Недалеко, в Соганлуги, там находилась грузинская артиллерия. Родители, естественно, волновались за меня, — продолжает батони Шалва. — В семейном архиве сохранилось стихотворение, которое отец посвятил мне. Отец-поэт беседует с сыном, сердце его сжимается от горя, но в то же время он горд, что и его сын — в числе других защитников родины:

«Ты прав: Грузия
Переживает минуты опасности;
В такие минуты святое чувство,
Истинное чувство не ждет,
Не пропадать же без пользы?!
Не слушаешься меня, не даешь сказать и слова,
Ты еще дитя беспомощное,
Но духом уже возмужавшее!
Иди, сыноу, исполни то,
Что сердце тебе повелело...»

И в конце: «Я боготворю Грузию, никому, кроме нее, не поклоняюсь, сейчас же счастлив тем, что и ты ее любишь». Представитель рода Макашвили, потомственных военных и истинных патриотов, не мог думать иначе.

Это стихотворение поэт написал 16 февраля 1921 года. А через два дня семью ждало новое испытание... За братом последовала сестра! Хотя, чему тут удивляться!

— Она была пламенной патриоткой, — говорит калбатони Нугеша.

Передо мной — биография Маро, написанная ее отцом, Котэ Макашвили, из которой мы узнаем, что в 1919 году она закончила грузинскую женскую гимназию и в том же году стала студенткой факультета словесности Тбилисского университета. Вот как характеризует свою дочь отец:

«Щедро одаренная природой, живая и умная Маро вместе с тем была весьма стыдливой, скромной и доброй. Прекрасно знала грузинскую литературу, писала на отличном грузинском и подавала надежду, что в будущем станет замечательным писателем. Она оставила нам две толстые тетради дневников и маленькие рассказы. Изучала иностранные языки (французский и английский), собиралась досконально овладеть ими с тем, чтобы переводить классические произведения художественной словесности непосредственно с оригинала.

Маро была одержима идеей возрождения родины и благосостояния грузинского народа. Служение этой идее стало целью ее жизни, и она принесла себя в жертву ей. Создание общества «Шевардени» Маро встретила с восторгом. Она стала членом его, несмотря на разные препятствия, а порой и на смешки, аккуратно посещала собрания. Сомневающимся в пользу этого общества она отвечала обычно латинской пословицей: «*In corpore sano, sana animus!* (В здоровом теле — здоровый дух)».

Она-таки оправдала эту пословицу — в здоровом теле ее жил здоровый дух; поэтому и не усидела дома, поэтому одной из первых откликнулась на призыв председателя Учредительного собрания Грузии Ал. Ломтатидзе к университетской молодежи: — Грузия в опасности, и мы должны защитить ее!..

Поддержка Иванэ Джавахишвили еще больше воодушевила студентов, в числе которых, кроме Маро Макашвили, были ее ближайшая подруга, впоследствии известная певица Кэто Джапаридзе, Сусанна Гамбашидзе, София Чрелашвили, Натела Эристави, Ксения Цхакая, Маро Абрамишвили и другие. Они должны были отправиться в Коджори, но в пункт распределения, оказывается, нахлынуло столько молодежи, что девушкам отказали. Возможно, пожалели будущих матерей...

Однако Маро не смирилась.

На мольбы отца и матери остаться дома она отвечала: «Я должна быть там, где льются слезы и кровь моих соотечественников...»

В тот же день, 17 февраля, второкурсница факультета

словесности и философии Маро Макашвили записывается сестрой милосердия Красного Креста и присоединяется к санитарному отряду, направляющемуся в Коджори, где шли ожесточенные бои за столицу независимой Грузии.

...Несколько дней на фронте... Мороз... Всего два письма...

«Любимый папа, у меня пока все хорошо. Мы всего лишь в полуверсте от первой позиции, в пяти или семи — от второй. Враг еще далеко. Наши дают им жару. Все очень воодушевлены. Дайте мне знать, что там с Шалико... Здесь очень довольны мной. Пришлите немного орешков и сладости, если, конечно, это возможно. Берегите себя. Целую много раз.

...Кстати, здесь не так холодно, как ожидалось. Привет всем нашим. Не бойтесь, мы победим!

Твоя Маро».

Это письмо, написанное карандашом на вырванном из блокнота листке и привезенное Иосифом Имедашвили из Табахмела, датировано 18 февраля 1921 года.

А 19-го вечером неожиданно происходит несчастье, хотя на фронте не бывает неожиданностей...

«Разорвавшийся рядом с ней вечером 19 февраля снаряд оборвал ее жизнь», — так заканчивает биографию Маро Котэ Макашвили. ...Но прежде чем были написаны эти строки, родительское горе вылилось в стихотворение — «Моей Маро», не вошедшее в сборники.

«И жизнь, и смерть — для меня одно,
Февраль и в май навеки привнес стужу,
Печаль камнем легла на сердце...
Грузию пронизали стенания Макашвили...»

— Родители узнали о случившемся в тот же день, отец поседел за одну ночь.

«Кого оплакивать, кого — родину или тебя?!
Слезами изошел из-за вас обеих я, чужие слезы
осушавший!»

Трагическую гибель Маро оплакивали не только родные и близкие, но весь Тбилиси, вся интеллигенция. Об этом свидетельствуют страницы тогдашних газет — многочисленные траурные объявления, некрологи, подписанные Тицианом Табидзе и Валерианом Гаприндашвили. Но не об одной Маро Ма-

кашвили скорбела в то время Грузия. Газеты пестрели объявлениями о гибели 21 юнкера, которые пали в те дни на подступах к Тбилиси и были похоронены в братской могиле во дворе Собора 23 февраля 1921 года, в среду. В Грузии не принято хоронить в среду, но, видимо, время не ждало, надо было отдать последний долг погибшим и сражаться дальше...

23 февраля в 12 часов дня похоронили и Маро — первую женщину, отдавшую жизнь за родину в этой войне.

«Собралась почти вся Грузия», — читаем мы пожелтевшие страницы газет...

Шалва Макашвили хорошо помнит тот горький день — Маро, лежащую в нижней молельне Кашветской церкви, голова ее повязана белым платком (осколки снаряда попали ей в затылок), протоиерея Калистрата Цинцадзе, служившего панихиду, огромное количество людей...

— За мной из Соганлуги приехал двоюродный брат моего отца, полковник Котэ Джандиери, сказал, что должен забрать меня домой. Причины не объяснил. До нашей части только-только дошли последние новости, и я краем уха слышал разговоры о какой-то девушке, которую сравнивали с Жанной Д'Арк... Я не знал, о ком идет речь, но сердце сжималось в предчувствии беды. Какое-то время мы двигались молча, дядя верхом на лошади, я — пешком... Потом он вдруг сказал мне: «Не смей возвращаться в часть, довольно жертв вашей семье»... Так он сообщил мне о гибели Маро.

Была глухая ночь, когда они добрались до Тбилиси. Как только рассвело, Шалва отправился в Кашвети и, склонив голову, встал у засыпанного цветами гроба своей сестры-амазонки. После погребения сестры он, несмотря на дядин запрет, отправился в часть. У Гори догнал артиллеристов лейтенанта Ладю Карумидзе и вместе с ними добрался до Батуми. Там их ждали жаркие бои сперва с турками, наступающими с юга, но они отстояли Батуми, а затем с огромной армией, надвигавшейся с севера, которой не смогли противостоять...

...Маро похоронили у ограды Собора. По моей просьбе батони Шалва чертит схему Собора, стоявшего тогда напротив Кашветской церкви, его ограду: справа был похоронен генерал Грязнов, могила же Маро находилась слева, ближе к старому дворцу...

— Почему у ограды?

— Это место считалось почетным, могила видна прохожим и всегда будет в цветах, — так тогда решили.

Но судьба распорядилась иначе. Останки Маро перезахо-

ронили, даже не сообщив родственникам, Собор разрушили, а на его месте возвели Дом правительства, перед которым 9 апреля 1989 года пролилась кровь невинных людей. Так переплелись в национально-освободительном движении февраль 1921 года и апрель 1989-го.

В 1924 году в канун трехлетней годовщины со дня гибели Маро Макашвили в газете «Картули ситква» появилась информация следующего содержания: «...По инициативе Гр. Робакидзе, И. Гришашвили и С. Ахвледиани выйдет книга, в которой будут опубликованы дневник Маро Макашвили и посвященные ей стихи грузинских поэтов».

Этой книги не существует, причем нет не только ее, но и рассказов, принадлежащих перу самой Маро. А то, что они были, нет сомненья. В одном из писем Котэ Макашвили к дочери, гостящей в Ахалкалаки, в родовой вотчине семей Тархнишвили и Габашвили, упоминаются эти рассказы. Отец хвалит и подбадривает дочь. «Будешь стараться — получится лучше».

Сердце Маро вмещало в себя многое: любовь к грузинской и мировой классической литературе, музыке, веру в Бога и пламенную любовь к родине. Мечтала она и о путешествиях. «Но родины я никогда не покину»... Эти ее слова звучат как клятва.

Вновь и вновь мы возвращаемся к событиям на фронте Коджори — Табахмела. Маро — в санитарной повозке — спешит к раненым. Неожиданно рядом с повозкой взрывается снаряд... Она умерла на месте...

В некрологе, посвященном Маро, Валериан Гаприндашвили писал:

«...Грузинская женщина отважна по своей природе. Маро Макашвили доказала это своей любовью к Отечеству, своей самоотверженностью. Ее молодая жизнь безвременно угасла, но смерть была прекрасной, именно такой, какую заслуживает дочь героической страны.

Маро Макашвили была ее достойной дочерью. Семья Макашвили понесла еще одну утрату... Маро всегда будет достойным примером для всех грузинских женщин. Сегодня мы провожаем в последний путь нашу героиню и, подавляя слезы, говорим ей — «Вечная память тебе, принесшей на святой алтарь отечества юную свою жизнь. Пусть на твоей могиле распустятся розы, как символ красоты и бессмертия»... Увы, недолго цвели розы на могиле девушки!

А вот прощальное слово Тициана Табидзе, опубликованное газетой «Сакартвело» (от 23 февраля 1921 года, за № 42):

«...Невозможно представить себе горе и отчаяние, которые испытывает сегодня грузинская общественность в связи с этой трагической смертью. Эта война унесла много жизней и еще унесет немало, но внезапная смерть этой девушки мучительна вдвойне. Грузинский фронт словно освятила первая непорочная кровь, кровь Мариам. Любовь к родине породит еще не одну Жанну Д'Арк, явит не одно чудо — патриотизма. Род Макашвили словно преследует рок — в последние годы, как только на долю Грузии выпадают трагические испытания, эта семья одной из первых теряет своих людей. И на этот раз судьба взяла свое (Тициан имеет здесь в виду брата своей жены — молодого офицера Илью Александровича Макашвили, крестника Ильи Чавчавадзе, трагически погибшего в Гори в 1920 году — Н. Г.).

Друзья надолго сохранят память о погойной, напишут о ней воспоминания, но вряд ли найдут слова, чтобы оплакать ее. И все-таки тяжелее всех родителям. Как бы ни любил поэт родину — ему тяжело примириться с гибелью дочери. В утешение безутешному отцу остается то, что его горе разделяет весь Тбилиси. Горы Коджори всегда будут напоминать грузинам о подвиге Маро, которую сегодня опустят в землю у ограды Собора».

* * *

Маро была на редкость проницательной для своих лет. Все понимала и, остро ощущая боль Грузии, переживала за ее судьбу, ее прошлое и настоящее, тем более за будущее. «На днях приехала французская миссия вместе со своей армией. Сколько гостей, но кто они, эти гости? Какова их цель, знает лишь Господь Бог. Господи, молю тебя, чтобы цель эта оказалась благой для нас. Все стремятся сюда, а что они здесь потеряли?»

Эта запись сделана 23 марта 1919 года, а начинается она приветствием весне.

«Сегодня ровно месяц, как я не заглядывала в дневник. Что мне сказать, чем поделиться? Жизнь идет своим чередом, не оставляя следа, достойного внимания. Наступила весна, прекрасная, обольстительная, но март как всегда верен себе, — теплый день сменяется непогодой. И тем не менее даже воздух изменился, запахло как-то особенно. О, солнце, солнце, что может быть лучше тебя, особенно весной!

Подобно природе, пробуждается и грузинский народ, протирает глаза, словно ото сна, и в скором времени, надо надеяться, проснется окончательно».

Таковы были провидческие мысли Маро Макашвили, удивительно умного и прозорливого для своего времени летописца той противоречивой поры.

В ее дневниках друг друга сменяют печаль и радость, общественные и личные проблемы, желания, мечты...

«26 ожидается большое празднество, — пишет она 24 мая 1919 года. — Действительно редкое событие. Ярмо сброшено, и грузинский народ, униженный и измученный, расправил плечи, выпрямился. Что нас ждет, сказать трудно. В нашем училище тоже отмечают праздничный день. Мне поручили написать статью на тему «Свободная грузинская женщина и свободная Грузия». Замечательная тема, попрошу бабушку помочь, чтобы получилось хорошо. Все ученики и учителя готовятся вовсю...» Рубеж между седьмым и восьмым классами. Одни покидают школу, оставляя там свое детство, другие остаются для продолжения учебы, Маро в числе последних. Она спешит насладиться летом, побывать в Картли, Кахети (ее влекут Алазанская долина, Икалто — корни ее предков с отцовской стороны). Маро удивительно любит деревню, в ней живет ее дух. После окончания учебы она мечтает поехать за границу изучать сельское хозяйство. Маро вообще — здоровая, сильная личность, наряду с книгами и театром увлекается спортом, она ни в чем не уступает юношам — одна из первых вступает в общество «Шевардени», и ее ничуть не смущают насмешки ребят — они окрестили девушку «Шеварденка» («шевардени» в переводе с грузинского — сокол)! Вот одна из летних зарисовок: «В воскресенье идем в лес. Я и Ницуца поедem верхом (Нино Диасамидзе из села Асирети, где гостит Маро — Н. Г.). Мама! Ты даже не представляешь, как это чудесно — сидеть на лошади. Четыре дня назад я скакала на коне Бабеты (Бабета Эристави — близкая родственница — Н. Г.), Мама! Прошу тебя, отпусти меня в июле в Кахети на несколько дней. Я здесь очень скучаю! Не знаю почему. До половины двенадцатого занимаюсь. Каждый день по часу играю, читаю, шью, но все равно скучно, потому что тебя и папы здесь нет... Мама, привези мне простые тапочки, потому что у моих желтых подошва совсем стерлась, и если я еще раз схожу в лес, они придут в негодность».

Маро была прекрасной наездницей.

В своем дневнике она с сожалением отмечает — «Господи, ну почему я не родилась мужчиной!»

Но раз уж она женщина, то должна преодолевать свою слабость, и в дневнике появляется следующая запись: «Шуточки Патэ мне уже надоели (Паата Мгалоблишвили — друг семьи. — Н. Г.), он ужасный противник «Шевардени». Все вечера мы только и делаем, что спорим из-за этого. Он доказывает, что женщине не место в «Шевардени», что ей необходима пластика. Я же, напротив, утверждаю, что это общество просто необходимо, чтобы грузинка имела возможность развиваться физически».

И тем не менее она женщина — «Завтра он уезжает в Тбилиси, и у меня ощущение, словно я что-то теряю...»

И тем более женщина — на страницах своего дневника она делает эскизы модной одежды, платья и пальто, отмечает цвет и фактуру ткани. Благодаря матери и бабушке Екатерине Маро замечательно умеет шить, занимается музыкой, а книгу так и вовсе не выпускает из рук, театр снится ей по ночам: «Сцену люблю до умопомрачения...», «Ох, как хочется стать актрисой хоть на несколько минут» — так эмоционально и восторженно воспринимает она спектакль. Не пропускает представления ни грузинской, ни русской труппы. А уж если ей понравится какой-нибудь спектакль, может смотреть его несколько раз и разыгрывать потом вместе с друзьями отдельные сцены.

Ее влечет и новый вид искусства — синематограф, и еще как влечет: «Мне не приходилось видеть актера лучше Можухина, но, к моему несчастью, я не могу слышать его голоса и вживую видеть его игру» (10/1—1919 г.).

...Как она только все успевала, как вмещала в себя столько чувств, знаний, глубины?.. Ведь ей не было еще и двадцати! Маро не дожила до своего двадцатилетия. Запись, сделанная в конце 1918 года и начатая на радостной ноте, заканчивается драматическим аккордом.

«...Кошки будто сговорились. Я пишу, а они мяукают и плачут за окном, словно дети. Пресвятая дева, храни нас от всех невзгод. Сегодня я молилась в церкви, преклонив колени перед Божьей матерью, а она с улыбкой смотрела на меня, словно обещая исполнить мою просьбу. Я верю, верю в твою Божественную силу, исполни, исполни ее, Боже, утешь меня». (Выделено ею — Н. Г.).

По словам Лео Киачели, она так же, как и ее отец, поэт



и общественный деятель Котэ Макашвили, очень близко принимает к сердцу судьбу Грузии.

Да, именно поэтому студентка II курса словесного факультета университета отправилась за своими собратьями на Коджорский фронт, туда, где решалась судьба независимой Грузии.

«Близится судьба жестокая и красивая...» — почему мне пришла на ум эта драматическая реплика из «Лонды» Григола Робакидзе? Да потому, что Маро Макашвили и героиня драмы-мистерины Григола Робакидзе Лонда, образец самоотверженности и самопожертвования, — удивительно похожи...

...В феврале 1919 года, ровно за два года до рокового события состоялся первый и последний в жизни Маро Макашвили бал — в Тбилисской женской гимназии.

«...Я впервые была на вечере и никогда еще не получала такого удовольствия. Меня заставили танцевать, а Паоло и Копал не отходили от меня ни на шаг. Все веселились, и я была рада, что мои друзья так хорошо проводят время. В пять часов накрыли стол к ужину — один огромный общий стол... За ужином директор поздравил нас и пожелал всем счастья. Он сказал, что желает всем идти по жизни своим путем и никогда никому не подражать, никому, ибо хуже этого ничего быть не может... Заиграла музыка. Я знала, что меня снова заставят танцевать, и убежала, спряталась в другой комнате. Все бросились за мной с криками «Княжна! Княжна! Мы от тебя не отстанем, пока не станцуешь». Что было делать, пришлось танцевать...»

...Подножие Мтацминды, начало весны, троица — Маро, Сусанна и Медея вместе выходят из училища, за ними следуют юноши и развеселившиеся гости. «...Паоло, отломав от дерева большую ветку, стал посреди улицы и начал кричать: «Министр Евгений Гегечкори, просыпайся!» Гегечкори же (Евгений Гегечкори — министр иностранных дел независимой Грузии — Н. Г.) стоял в это время на улице и поздравлял всех встречных, мы так шумели, что перебудили всю улицу. Когда приблизились к театру, услышали музыку, увидели грузинское войско, направлявшееся во Мцхета (его должен был благословить католикос Леонид — Н. Г.). Копал и Паоло купили букеты фиалок. Мне и Сусанне достались самые большие. Мы встали посередине улицы и, когда войско приблизилось, стали раздавать солдатам фиалки, а затем забросали цве-

тами остальных с криками «Ура!». Войско остановилось, грянула песня. Паоло выдал несколько экспромтов, а затем мы маршируя пошли за войском».

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

12 июня по новому стилю (1918 г.)

Сегодня несчастливый день. Сегодня вошли немецкие войска, и грузинские с песней встречали их. Пошли посмотреть и мы. И что же увидели? В центре улицы рядами стояли упитанные, здоровые, налитые немцы со штыками в руках, а горожане толпились вокруг них. Они выглядели так, словно готовы разорвать любого. Хмурые, привыкшие повелевать. Состоялся парад: у меня же было такое ощущение, словно хоронили кого-то близкого. Грузины пели, но что было у них на душе? — печаль и грусть; избавились от одного господина, освободились от рабства, и тотчас надели новое ярмо. Господи, Отец наш небесный, в чем провинились мы перед тобой, почему весь свой гнев обрушиваешь ты на нас? Шли войска — грузинские и немецкие. Люди роились вокруг, словно мухи. Кто смеялся, веселился, кто хранил грустное молчание. На меня это так подействовало, что захотелось плакать. Вот ради чего мы боролись. Вот какие плоды пожинаем. Как ужасно они выглядели. Упитанные здоровяки, с толстыми, как у поросят, мордами, с жестоким выражением. За мной шли двое русских. Когда грянула грузинская песня, один из них сказал: «Пой, ласточка, пой и могилу себе рой». Вот прощальное напутствие России.

16 июня

Похоже, немцы пока хорошо обращаются с грузинами. Вчера кто-то рассказал — армяне будто что-то просили у немецкого начальника, но он сказал им: — сперва грузинам, а потом, может, и вам. Немецкие и грузинские войска участвовали в боях и освободили два города. Возможно, со временем немцы приучат к дисциплине и нас. Нам это необходимо. Без нее мы будем самым отсталым народом. Мы должны научиться экономии и точному расчету, если хотим выжить. Может быть, немцы наставят нас на путь истинный. В речах каждого социалиста звучат сейчас национал-патриотические нотки.

Все должны осознать, что в Грузии социализм невозможен, хотя социалисты никому не позволяют критиковать себя...

Мог ли кто-либо из грузинских царей представить себе то, что происходит сейчас в Грузии! Они и помыслить о таком не могли. Ах, Тамар, Тамар, где твое блистательное время или твое, Давид Строитель!

Возможно для других это не столь очевидно, но у меня такое чувство, что наш несчастный народ дождется свободы. Вот когда наступит неопишуемое счастье: каждый грузин встретит это известие с восторгом, солнце будет светить веселее и согреет все вокруг, и луна высветит старые следы, ведущие к истине.

22 июня

Неужели у меня никогда не будет дома и земельного участка где-нибудь в деревне? Это самое заветное мое желание. Через год я заканчиваю учебу и обязательно поступлю на сельскохозяйственные курсы. Но как я смогу применить свои знания. У меня ведь нет земли, своей земли. Если все будет хорошо, может быть папа на старости лет сможет купить дачу и земельный участок, где мы могли бы отдыхать летом. Как же мне там все обустроить?! Я обязательно должна поехать во Францию и изучить там сельскохозяйственное дело. Я это решила. Я сама хочу работать на своей земле. Если родители не смогут, сама постараюсь приобрести на заработанные деньги сперва маленький участок, а потом побольше. Хотелось бы на берегу моря, а если не там, то в Кахети. Если бы бабушка дала нам свой дом, мы с Шалико превратили бы его в райский уголок. Мне кажется, Шалико тоже поступит в сельскохозяйственный университет. Тогда мы вдвоем сможем сделать очень многое. Господи, исполни это наше маленькое желание. Продли нашу жизнь, дай нам силы, человек, если захочет, сможет все! Недаром же говорят: «При желании человек невозможное делает возможным». Мы все сидели и говорили о том, как счастлив человек, если у него есть свой дом: может, и нам улыбнется удача. Красивый дом... большой сад... И все будет сделано нашими руками или хотя бы под нашим руководством и присмотром. Я с детства мечтаю об этом.

Может, поедem в Ахалкалаки и поселимся на даче Мгалоблишвили, это было бы очень хорошо. Во-первых, вместе с Патэ и Эличкой будет весело, а, во-вторых, наконец исполнится моя мечта, и я смогу всласть наездиться.

30 июня

Произошло большое несчастье — 27 июня в селе Марткопи умер (покончил с собой) католикос Кирилл II. Он нахо-

дился в марткопском монастыре. Чувствовал себя хорошо. На-
утро на стук монаха никто не отозвался. Монах зашел в ке-
лю и увидел застреленного католикоса. Там же лежал и ре-
вольвер Кириона II без одного патрона. Всего лишь месяц,
как Кирион заболел и был не совсем в здравом уме. Возмож-
но, поэтому он покончил с собой, а может, его кто-то убил.
Это еще не выяснено. Со всех сторон сыпятся несчастья. Он
был католикосом всего семь месяцев. Господи! Что ты нам
уготовил, что?! Похороны состоятся в Мцхета, мы наверное
поедем. В октябре его торжественно рукоположили в сан, а в
июне там же со скорбью и слезами предадут земле. По окон-
чании траурных дней наверняка выберут Леонида.

Лели Джапаридзе обещала познакомить меня с Паоло. Я
жду.

17 сентября

Хоть бы моя мечта исполнилась, а если нет?! Очень хочу
изучить языки так, чтобы свободно говорить на них; если не
буду лениться, смогу продолжить занятия музыкой. Хочу за
границу, очень, очень. Поеду обязательно. После окончания
учебы один год поработаю; соберу деньги, тем самым облег-
чу проблему родителям. Жизнь за границей потребует много
денег. И я хочу, чтобы отцу не пришлось выкладываться, что-
бы у меня были свои деньги. Очень, очень хочу в Париж и в
Италию. Неужели мне что-нибудь помешает?

25 сентября

Вчера я в третий раз побывала на «Евгении Онегине» —
могу сходить еще 20 раз, лишь бы Онегина пел Орда. Я счи-
таю его неподражаемым. Я слушала его, и меня охватывала
дрожь. Он пел даже лучше, чем во время своего бенефиса, это
было замечательно! Кажется, слушай я его с утра до вечера,
мне это не наскучит, такого Онегина, по-моему, здесь еще не
было... Мы с Кето сидели в третьем ярусе. Я не отрывала
глаз от бинокля. После первого действия пересели в шестой
ряд партера, а под конец — в ложу. Обычно в оперу ходит
мало людей, вчера же народу было полно. Бедняжка Орда был
нездоров. Под конец голос изменил ему, и он сорвал верхние
ноты. Но это пустяк, все равно все были очень довольны. Хо-
роша была и Левицкая в роли Татьяны. Впрочем, весь состав
был замечательный, за исключением Заливского. Нет, я буду
ходить в театр чаще, я очень люблю театр, тем более когда
выступают те, кто мне нравится. На ночь я осталась у Кето.
Прежде чем уснуть, мы разыграли целое представление. В

ушах звучали дивные мелодии: «Увы, сомненья нет»... и «А счастье было так близко, так возможно».

В прошлом году меня упрекали, что я слишком часто хожу в театр, что делать, меня тянет туда словно магнитом. А что будет в этом году? Очень жаль, что Господь не дал мне красивого голоса...

Сколько чего надо еще записать, но ужасно хочется спать...

8 октября. Сегодня мне сообщили очень, очень радостную весть — я перешла в 7-ой класс. Сначала не верилось, но меня все же убедили, я ученица 7-го класса. Ура!..

Пришло известие, что турки, кажется, оставили Батуми и бегут.

18 ноября 1918 года.

В Германии началась революция. Вильгельм отрекся от престола. Обнародовал свой манифест. Немцы покидают Тбилиси. Вместо них прибыли английская и французская миссии. В принципе независимость Грузии признана. Немцы, уходя, оказываются, сказали, что в тяжелую минуту поддержат нас...

1 декабря 1918 года (по новому стилю).

Это исторический день в жизни Грузии. Исполнилось полгода, как признали независимость Грузии. Все тбилисцы собрались перед Дворцом. Здесь проходил парад, строй был образцовым, затем начался митинг, было много поздравлений. Под конец выступали с речами. Царило праздничное настроение. Каждый грузин чувствовал себя свободным. Каждый восторженно улыбался и словно говорил: — наконец-то дождались!

Дождались, дождались! Нет, спешить нельзя. Вокруг нас враги и они начеку. Чего от нас хотят? Бог его знает! Еле дождались — повсюду грузинские флаги. Как чудно они реют, в воздухе кружат аэропланы. Я дрожала от восторга, сердце трепетало. Почему нам мешают, чего хотят от нас? Неужели в них нет ни капли любви и жалости — «Святой Георгий, защити Грузию!»

20 февраля 1919 года.

...Вчера я была в театре. Там зачитали депешу английского правительства, в которой оно приказывает своей миссии вынудить Деникина отойти от границ Грузии. Все аплодировали, играли гимны.

Мы переживаем сейчас важный исторический момент. 15 числа этого месяца прошли выборы в Учредительное собрание.

Избрали много социал-демократов, двух национал-демократов и др. На улице творилось что-то невообразимое. Все спешили отдать голос той партии, которая им нравилась. Мы очень волновались. Предполагали, что преимущество будет за партией, проходящей под № 11, но, к сожалению, ни один из депутатов не прошел. Партия набрала всего 460 голосов, она новая, и многие о ней не знают.

Проходят одни социал-демократы. А ведь эта партия на ложном пути. Это не социалисты, это буржуа, они лишь называются социалистами и говорят их языком.

Вся нация, по-моему, разделилась на 15 партий. Ну что из этого может получиться?

24 мая 1919 г. (по новому стилю). Тбилиси.

Эта тетрадь пятая по счету, и мне хочется заполнить ее совершенно новыми чувствами и мыслями. Раньше я писала, что сначала пришли немцы, потом англичане, сейчас у нас итальянцы. Тбилиси наводнили и американцы, он стал интернациональным городом... Не знаю, кому мы в конце концов попадем в руки. По-моему, у нас будет еще много гостей. Во Франции сейчас находятся наши делегаты, но конференция еще не закончена, когда закончится — неизвестно. Отряд добровольцев под командованием Деникина атакует Грузию, но его отбрасывают. Тбилиси наполнен беженцами. Хлеб очень дорогой: черный стоит пять, белый семь, а грузинский — девять рублей, вот и живи, как хочешь. Я заказала себе туфли и никак не могу их забрать, потому что должна заплатить 300 рублей. Папа говорит, что в день в среднем мы тратим 150 рублей. А чулки стоят — 150, 200 рублей. Как же их покупать, мы ведь не штампует деньги. За несчастьем — несчастье. Недавно сказали, что из Америки везут обувь. Когда придет груз — неизвестно. Да и цена, наверное, будет такая же высокая. Нас заставляют купить 26 знамен. На праздник все должны вывесить знамена, а кто не выполнит этого распоряжения, будет оштрафован. Зачем такое насилие: кто сможет, купит, а кто не может, того не заставишь. Я всем сердцем приветствую свободу моей страны, — разве так уж обязательно вывешивать флаг? 26-го ожидается большой праздник, все союзы работают усердно. Опишу все до мелочи, когда воочию увижу этот великий праздник. Независимости Грузии — год — это действительно редкое событие... Ничего не хочу, лишь бы нас скорее распустили, и я перешла в восьмой класс.

(22 мая) 4 июня.

Положение не изменилось. Деникин с армией не наступает, но и не уходит. Нескончаемые собрания. Возможно, на днях объявят мобилизацию. Когда же мы вздохнем свободно? Когда наша страна расцветет как сад? Чего хотят от нас, почему не оставят в покое?! Мы ведь ничем не отличаемся от других. Нет страшнее существа, чем человек. Он хуже любого зверя.

Грузинский народ мужественный и бесстрашный; он никому не отдаст своей родины. Любовь к родине превыше всего. Она не сравнима ни с какими другими чувствами. Он будет сражаться с врагом, сражаться до последней капли крови. Смерть или победа — вот девиз грузинского народа!

Перевод Майи МЕРАБИШВИЛИ

ПОСВЯЩЕНИЯ МАРО МАКАШВИЛИ

Ражден ГВЕТАДЗЕ

МАРО МАКАШВИЛИ

Я вас не знал, Маро, но, говорят, вы были
Похожи на Тамар и станом и лицом.
Но нужен Рафаэль с его святым мазком
Чтоб ваш портрет писать... Увы, теперь могила

Под розами молчит. Судьба все изменила,
И прелесть юности с простреленным крылом
Увяла, как цветок. Остались за холмом
Любовь и сладость грез. Все смерть переломила.

Я вижу на Луне застывший храбрый взвод,
Бойцов поверженных подсвеченные лики.
Комочек страха, я гляжу на небосвод,

Где вижу под крестом святую базилику,
Долину и окрест заснеженные горы,
И башни крепостей, и серый вал Коджори.

1921

МОЕЙ МАРО

Я устал! Не вдохновляет мягкий отблеск небосвода,
 Нету крыльев за спиною, чтоб над жизнью воспарить.
 Как мне вырваться из круга, что зажал меня невзгодой,
 Подскажи, Маро родная, как невзгodu пережить?..
 Тот февраль сковал морозом месяц мая солнцеликий,
 Тяжкий камень сердце давит, мукам этим нет конца!
 Плачет Грузия слезами Макашвили-горемыки,
 Дочь моя, святыня края, пожалей теперь отца!
 Я устал! Мой край истерзан, дочь моя—добыча смерти.
 Кто мне ближе, кто дороже... Нет! Довольно слезы
 лить!
 Как легко лишиться силы в сей житейской круговерти,
 В этой слабости минутной трусом так легко прослыть!
 О прости, Маро родная, черной скорби переливы,
 Я теперь тебя достоин и, оставшись, должен стать
 Мощным дубом, что корнями прочно врос в родную
 ниву
 И, лицо подставив буре, — твое дело продолжать!

7 мая 1922

Перевод Гиви ОРАГВЕЛИДЗЕ

Тамар ЭРИСТАВИ

МАРО МАКАШВИЛИ — СЕСТРЕ МОЕЙ МАТЕРИ

Погибла 19 лет в феврале 1921 года—
 в сражении при Коджори, будучи сестрой
 милосердия.

Я верила: ты возвратишься, вернешься домой,
 И смерть одолеешь, как изморозь — первый
 подснежник.
 Но ты под землей, под облитую кровью землей,
 О, как тебе тяжело в объятиях вечных и нежных.

**Я верила: снова и снова небес синевою,
И солнечным светом исполнишься ты, и надеждой;
Я верила: ты победишь, ты вернешься домой,
Но ты под землею, в объятиях вечных и нежных.**

**А если б с тобой возвратились и юноши те,
Кому ты бинтами хлеставшую кровь удержала,
Кому улыбалась улыбкой невесты в фате,
И ласковым словом у смертной черты ободряла...**

О, если бы...

**Вновь над Коджори луна поднялась,
И в день Пресвятой Богородицы дух мой излечен,
Я всадников Белого Георгия вижу сейчас, —
Летящие гривы, горящие яблоки глаз...
Они провожают в последний, единственный раз
Сестру милосердья в созвездие Девы Предвечной.**

1990

Перевод Владимира САРИШВИЛИ



Теймураз МИБЧУАНИ

МУХАДЖИРСТВО И ГРУЗИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

«То, что в Гудаута сегодня проживает много абхазов — это заслуга начальника Бзыпского округа майора Д. Чавчавадзе. Во времена «мухаджирства» он возвратил назад тысячи обманутых, не отпустив их в Турцию, за что и был казнен».

Грузинская хроника XIX века

История народов Кавказа богата примерами того, что в различные исторические эпохи грузины играли немаловажную роль в деле спасения населения кавказского региона от физического истребления. Возможно именно поэтому народы Кавказа, независимо от их этнического происхождения и религиозных убеждений, в час испытания спланивались вокруг Грузии и давали достойный отпор врагу.

Грузия и сегодня способна выполнять роль буфера. Кавказцы всегда отличались неподдельным мужеством и благородством, способностью вселять надежду в изверившихся соседей и в трудные моменты приходить им на помощь. И как при скорбен тот факт, что Грузия, переживая сейчас тяжкое время, вместо поддержки со стороны соседей, судьба которых исторически всегда зависела от могущества грузинского народа, и с которыми испокон веку она делила и горе и радость, получила предательский удар в спину.

Сегодня темные имперские силы, авантюристы и провокаторы всех мастей путем фальсификации истории народов

Кавказа пытаются использовать то или иное явление для дискредитации грузинского народа и восстановить против него соседние кавказские народы. Так, абхазской провокационной войне предшествовал целый ряд специальных мероприятий. Я приведу лишь одно — грандиозное, состоявшееся 21 мая 1992 года на сухумском стадионе. Оно было посвящено «мухаджирству». На митинге присутствовали представители северокавказских народов и иностранных диаспор. Лозунги и транспаранты, вынесенные на стадион, содержали антигрузинские призывы. Митингующие обвиняли грузин в «мухаджирстве», а член армянского реакционного общества «Крунк» учительница Седа Саркисян обвиняла в своей речи грузин в геноциде абхазского народа.

«Мухаджирство» — арабское слово и означает переселение, которое началось на Кавказе со времен установления турецкого господства и время от времени имело там место вплоть до первой мировой войны. «Мухаджирство» — одна из самых трагических страниц истории народов Кавказа — сопровождало кавказским войнам, началу крестьянских реформ и русско-турецким войнам. В основном, оно охватывает 50—70-е годы XIX столетия, хотя, по сведениям грузинского историка З. Чичинадзе, «мухаджирство» случалось в Абхазии и в 1660 и 1770 годах. Оно было вызвано религиозной политикой турецких захватчиков (З. Чичинадзе, «Великое переселение грузинских мусульман в Турцию», Тбилиси, 1912).

«Мухаджирство» затронуло абазов, абадзехов, бжедухов, прикубанских ногайцев, черкесов, убыхов, чеченцев, карачаевцев, кабардинцев, осетин, абхазов и грузин-мусульман южной Грузии.

Россия стремилась к достижению политического мира на Кавказе путем переселения горцев в Турцию, пытаясь таким образом использовать в полной мере выгодное военно-стратегическое положение этого региона.

В свою очередь, и туркам было на руку заселение кавказскими народами их территорий. «Мухаджирство» способствовало освоению Турцией ее незаселенных земель, что, в свою очередь, давало возможность развивать народное хозяйство и укреплять обороноспособность страны.

Итак, интересы России и Турции в вопросе «мухаджирства» полностью совпадали, в результате чего политика, проводимая ими в этом направлении, была обречена на успех. Сей политический фарс так и не был осознан кавказскими горцами, несмотря на то, что тогдашняя грузинская интеллиген-

ция открыто выступала против депортации народов Кавказа, вскрывала губительную для них роль «мухаджирства» и коварные замыслы, лежащие в основе этой тайной политики.

Одним из ярых защитников депортируемых народов был грузинский поэт Григол Орбелиани, который в пору «мухаджирства» являлся наместником царя на Кавказе. В рапорте военному министру России от 4 мая 1862 года генерал Г. Орбелиани писал: «Ныне интенсивный характер принимает продажа черкесских женщин и детей в Турцию, разумеется, имеются данные о переселении значительной массы кавказских горцев за последние два года. Те, кому удалось возвратиться на родину, рассказывают, что они были вынуждены продавать своих жен и детей, дабы сохранить жизнь им и себе» (Г. Дзидзариа, «Мухаджирство», Сухуми, 1976, с. 228).

В 1872 году, в связи с первым периодом «мухаджирства», Григол Орбелиани писал, что с Кубани выслано более двухсот тысяч черкесов, что Абхазия обезлюдела. А сейчас население Аджарии и Карса пытается спастись от этой «холеры» («Литературная летопись», Тбилиси, 1940, с. 300—301).

К сожалению, «мухаджирство» активно поддерживалось состоятельными слоями горского населения Кавказа и духовенством. Они опасались утратить свои социальные и политические привилегии под властью русских и считали переселение в Турцию одним из путей к спасению.

Духовенство страдало верующих тем, что Россия будет оскорблять их религиозные чувства, насильно обращать в христианство. А многочисленные турецкие эмиссары убеждали притесняемых царским режимом горцев в том, что единоверная Турция создаст им все условия для нормальной жизни.

Выдающийся абхазский ученый, профессор Георгий Дзидзариа, посвятивший «мухаджирству» капитальный труд, подчеркивает резко отрицательное отношение грузинского народа к «мухаджирству». Передовая грузинская интеллигенция была единственной на Кавказе, кто выступал против этих бесчеловечных актов насилия, осуществляемых царским режимом, и приложил немало усилий для возвращения хотя бы части несчастных переселенцев.

Первое художественное произведение об абхазском «мухаджирстве» «Переселение в Турцию», воссоздающее невыносимую жизнь абхазов на чужбине, принадлежит перу грузинского журналиста Левана Мчедлишвили. Оно было опубликовано

в 1878 году в газете «Дроэба». Через год на страницах той же газеты появилась его статья на ту же тему, в которой говорилось: «Нужно иметь воистину каменное сердце, чтобы не дрогнуть пред мукой абхазских женщин, одетых в лохмотья, до невозможности исхудалых, пожелтевших от голода, вместе со своими детьми стоявших на коленях перед великим князем, находившимся в Батуми, и молящих его о прощении».

Об абхазских «мухаджирах» с болью писал грузинский писатель И. Хонели (И. Бахтадзе), повествуя о событиях периода русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Статьи и материалы, посвященные абхазским «мухаджирам», публиковали также грузинские общественные деятели К. Мачавариани, Н. Джанашиа, З. Чичинадзе и др. В одной из своих книг З. Чичинадзе посвятил «мухаджирству» в Абхазии отдельную главу, он неоднократно подчеркивает, что «абхазы покинули свой райский уголок», подвергшись насилию, провокациям и обману, и очутились на непригодных землях в тяжелейшем положении. Сколько же их погибло? Или в чем они так провинились, что им вынесли столь суровый и бесчеловечный приговор?»

В своей книге «Мухаджирство» абхазский ученый Г. Дзидзариа отмечал: «В статье «Внутреннее обозрение» Илья Чавчавадзе также касался вопроса «мухаджирства» и остро критиковал правящие круги турецкого султаната и русского царизма». По поводу переселения абхазов и аджарцев он писал: «Если правительство (России) желает показать народу свое доброе отношение к нему, это необходимо делать сейчас, когда народ взывает о помощи. Народ же является силой и основой всякого государства».

Грузинский писатель и общественный деятель Георгий Церетели в своих публицистических статьях не раз вставал на защиту абхазского народа от притеснений российских колонизаторов. И когда русификаторы обвиняли абхазов в предательстве, Г. Церетели в ответ писал: «Будем откровенны, в Абхазии имело место обыкновенное недовольство местной администрацией. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее в Зугдидском уезде и Сванети. Согласно данным «Общества распространения христианства на Кавказе», мусульмане в Абхазии не составляли большинства. Иные, правда, являлись христианами номинально, во всяком случае сочувствие туркам не могло быть основанным на религиозном фанатизме» («Голос», 20.X.1877).

По данным Г. Церетели, в Турцию было выселено 48 ты-

сяч абхазов. С. Месхи и другие источники приводят иные цифры — 30, 35, 60, 80 тысяч. В целом общее количество депортированных абазов, абхазов и убыхов должно было составлять 180 тысяч, либо гораздо меньше. Но никак не 200—300 тысяч, о чем демагогически твердят некоторые. Согласно мировым демографическим данным 1983 года, количество абхазов, проживающих за границей, составляет 4—5 тысяч.

Активно выступал против «мухаджирства» и Серги Месхи, который в своих публицистических статьях предупреждал, что переселенных в Турцию ожидает голод, нищета и смерть (С. Месхи, «Записки», Тбилиси, 1903, с. 404). С. Месхи неоднократно возвращался к этой теме и мужественно боролся против национального и духовного угнетения народов Кавказа.

Абхазы, как и грузины, всегда были патриотами Грузии. Но уже после «мухаджирства» проводится интенсивная политика разжигания среди абхазов ненависти к грузинам. Хотя было очевидно, что переселение абхазов в Турцию носило насильственный характер и являлось следствием русификаторской политики. Очевидно и то, что передовая грузинская интеллигенция не жалела сил для борьбы с «мухаджирством», и благодаря ее усилиям часть депортированных удалось вернуть на родину.

Д. Мачавариани, один из ярких представителей грузинской передовой интеллигенции, с болью писал в те трагические годы: «Абхазы, погруженные на корабли для вывоза их на чужбину, плакали, стенали, протягивали руки к родному берегу, и, прощаясь с нами, молили передать русскому правительству, что они уезжают не по своей воле, их увозят насильно, и потому их следует считать не предателями, а пленными врагом» (С. Месхи, Собрание сочинений, т. III, с. 21).

Грузинские общественные деятели той поры всячески пытались убедить царское правительство в том, что абхазы и другие народы Кавказа не являются предателями России, высказывали надежду, что при случае им не откажут в возвращении на родину. «Мы надеемся, что правительство не станет чинить препятствий и позволит вернуться домой всем абхазам, желающим по-прежнему обосноваться на родной земле. Этого требует не только человеколюбие, но и справедливость», — писала тогдашняя грузинская пресса.

Царское правительство заселяло опустевшие дома кавказцев русскими, болгарами, греками, армянами, эстонцами и

представителями других народов. В то же время заселение Абхазии грузинами категорически запрещалось на официальном уровне. Таким образом царское правительство создавало реальную этническую базу для прочного обоснования в этом регионе. «Бывшие поселения абхазов раздаются всем желающим... За прошедшие 5—6 лет сюда переехали русские, греки, болгары, немцы, армяне и многие другие», — писала газета «Дрозда» от 16 ноября 1883 года. И этот процесс протекал еще более интенсивно в течение всего периода существования большевистской империи. Идея превращения Абхазии в горячую точку и ее отторжения от Грузии вынашивалась и созревала давно, для воплощения ее в жизнь требовался лишь удобный момент. После «мухаджирства» коварный замысел царизма заключался в разжигании среди абхазов ненависти к грузинам.

Как уже говорилось выше, опустевшие поселения абхазов достались иноземцам. Что касается грузин, за редким исключением им категорически запрещалось селиться в Абхазии.

В качестве примера можно привести данные по Дали-Цебелдинскому ущелью, дающие представления о том, кому царское правительство предпочитало отдавать опустевшие в результате «мухаджирства» абхазские земли. Вот их имена:

Майор Середин — 207,5 десятин, полковник Дьячков-Тарасов — 304 дес., полковник Бум де Кацман — 354,5 дес., старший советник Михневич — 200 дес., полковник Генштаба Фрейер — 500 дес., полковник Шавров — 425 дес., полковник Введенский — 381 дес., полковник Красницкий — 807,5 дес., полковник Миневиц — 526,5 дес., генерал-лейтенант Краевич — 1497,5 дес., коллежский советник Воронов — 462 дес., подполковник Буткевич — 200 дес., майор Рогозинский — 200 дес., советник Семенников — 1500 дес., капитан Ивановский — 100 дес., подполковник Захаров — 336,5 дес., князь Витгенштейн — 7743,5 дес., коллежский советник Николаев — 261 дес., коллежский ассистент Васильев — 150 дес., полковник князь Накашидзе — 300 дес., есаул Гордеев — 150 дес., коллежский советник Конопацкий — 150 дес., капитан Саницкий — 250 дес., подполковник Омаров — 150 дес., полковник Бебутов — 300 дес., полковник Навроцкий — 300 дес., генерал Бьюмакин — 300 дес., полковник Чижов — 300 дес., полковник Кишельский — 300 дес., полковник Баратов — 300 дес., полковник Рычков — 300 дес., полковник князь Джорджадзе — 300 дес., полковник Момбель — 300 дес.,

полковник Запороженко — 300 дес., полковник Хозбашев — 300 дес., полковник Чембер — 300 дес., полковник Войско-Оранский — 300 дес., старший советник Мошнин — 500 дес., полковник Шелковников — 600 дес., полковник Фогель — 400 дес., полковник Зеленый — 500 дес., благочин Мачавариани — 400 дес., полковник Гегеместер — 500 дес., майор Козенко — 300 дес., майор Иванов — 300 дес., старший советник Сараджев — 100 дес.

Таким же образом были распределены земли в Гумистском, Гудаутском и Гагрском уездах. Думается, вышеприведенный список наглядно опровергает измышления одного из идеологов абхазского сепаратизма Симона Басария, утверждающего, что после «мухаджирства» в Абхазии, якобы, селились люди, жившие по ту сторону Ингури (С. Басария, «Абхазия», с. 77).



«В ГРУЗИИ НЕТ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ»

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 100 различных национальностей, и чтобы понять, какое место отводится проблеме национальных вопросов в республике, достаточно упомянуть об одном, на первый взгляд, незначительном факте: в то время, как аппарат Госканцелярии сокращался на одну треть, распоряжением Президента была создана новая служба, занимающаяся национальными вопросами. Ее возглавил Алексей Борисович Герасимов.

А. Б. Герасимов родился в 1936 году в Тбилиси, закончил физфак Тбилисского государственного университета, аспирантуру Ленинградского физико-технического института, доктор физико-математических наук.

С 1982 г. заведующий кафедрой микроэлектроники ТГУ, один из ее создателей. Президент Центра российской культуры в Тбилиси, вице-президент международного комитета народной дипломатии.

С 1993 года член Президентского совета, а с начала 1997 года помощник Президента Грузии по вопросам межнациональных отношений.

Предлагаем вниманию читателя беседу с Алексеем Герасимовым.

— Как давно Вы занимаетесь вопросами межнациональных отношений?

— Со времени прихода к власти Звиада Гамсахурдиа, когда был провозглашен лозунг «Грузия — для грузин». Тогда со стороны России и со стороны Грузии прозвучали взаимные обвинения, порой беспочвенные, расколовшие два народа. В 1993 году на деньги, собранные общественностью Грузии, я с группой представителей интеллигенции выехал в Москву для проведения встреч с российскими коллегами с целью налаживания нелепо прерванных старых связей. Мы проводили пресс-конференции, устраивали встречи в академических учреждениях, в редакциях популярных изданий и находили полное по-



нимание. Сейчас связи постепенно налаживаются. Часть российских политиков, представители творческой интеллигенции — вновь повернулись лицом к Грузии.

— На каком этапе, на Ваш взгляд, находятся сейчас российско-грузинские взаимоотношения?

— Российско-грузинские взаимоотношения, разумеется, заметно улучшились, хотя темпы их развития на данном этапе недостаточны. В отношении абхазского вопроса Россия занимает пассивную позицию, не способствует решению конфликта, вынуждает Грузию интернационализировать его. А это означает, что в решении абхазского конфликта будут задействованы, помимо России, и другие страны. Данный факт снова вызовет определенное отчуждение между нашими странами. Потому что, если Грузия потребует вывода миротворцев, Россия по неофициальным заявлениям должностных лиц МИДа и Минобороны РФ откроет границы на Псоу, что вызовет новую эскалацию конфликта, вплоть до развязывания войны.

Несмотря на принципиальную позицию Президента Ельцина в отношении урегулирования конфликта мирным путем, в России есть определенные силы, которых не устраивает это, им на руку война и анархия в регионе. Ведь ни для кого не секрет, что многих в России раздражают идеи проведения нефтепровода через Грузию, прохождения через нее шелкового пути и т. д.

Так что остается только приветствовать то, что мировая общественность наконец-то осознала необходимость решения этого конфликта. На мой взгляд, желательно, чтобы этот конфликт решился с помощью России. Это послужит новым импульсом к восстановлению более тесных связей между нашими странами.

— Чем же занимается служба по межнациональным вопросам?

— В основном, проводит широкую разъяснительную работу, задача службы — сосредоточить в своих руках нити взаимоотношений, связывающих народы, проживающие в Грузии.

Мы пытаемся разъяснить населению, что нынешние социальные трудности — дело временное, это ничто в сравнении с тем, что Грузия могла надолго ввергнуться в пучину кризиса. В Грузии одновременно произошли два явления — она обрела независимость и сменила формацию с социалистической на капиталистическую и, воспользовавшись этим, определенные силы попытались разобщить Грузию. Доказательством тому является статья в «Независимой газете» (26.03.97) «СНГ: на-

чало или конец истории?», где прямо даются рецепты умирения слишком «возомнивших» о себе республик и их лидеров. «России придется активно способствовать ослаблению позиции антироссийски настроенных сил в Азербайджане и Грузии... Следует незамедлительно снять блокаду с Абхазии... содействовать укреплению связей между Северной и Южной Осетией, стимулировать сепаратистские тенденции в Аджарии. Помимо этого, возможно дать понять Еревану, что в случае продолжения Грузией антироссийской линии, Армения сможет де-факто присоединить к себе регион, известный под названием Джавахи в армянском обозначении и Джавахети — в грузинском, пробить в дальнейшем коридор, обеспечивающий прямые коммуникации Армении с Россией (хотя, как известно, это противоречит официальной политике Армении — А. Г.). Угроза столь серьезной дестабилизации Грузии, подкрепленная демонстрацией решимости России идти по этому пути, стала бы серьезным отрезвляющим фактором для нынешнего грузинского руководства».

— И все же, откуда такая уверенность, что межнационального конфликта в Грузии не произойдет. Ведь и грузино-осетинский и грузино-абхазский конфликты оцениваются как этнические?


— Я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что конфликты в Грузии не этнические, а социально-политические. Всем уже известно, что конфликт в Абхазии был привнесённым, запланированным определенными людьми, некоторых я знаю, даже встречался с ними. Это — Бабурин, Ампилов, Лукьянов и другие. Так вот эти люди, не скрываясь, говорят, что конфликт в Абхазии готовился с целью восстановления СССР.

Я повторяю, в Грузии нет почвы для межнациональных конфликтов. Народы Грузии всегда жили в согласии друг с другом и, несмотря ни на что, находили общий язык.

Дело в том, что любой конфликт тотчас же стараются окрестить как межнациональный. Задача нашей службы — противодействовать этому. Мы должны быть всегда начеку, чтобы нам не навязали новый конфликт извне, потому что на данном этапе единственно действенный способ остановить прогресс в Грузии — это создать очаг напряжения. И очень внушительные силы как извне, так и изнутри к этому стремятся.

— Исходя из всего изложенного Вами, можно сделать вывод, что в Грузии на данный момент вообще нет взрывоопасных точек?

— В Грузии нет никаких взрывоопасных точек. И если Вы



имеете в виду регионы, компактно заселенные гражданами нетитульной национальности, то и там не будет никаких конфликтов, если, повторяю, их не организуют извне. К сожалению, в прессе время от времени появляются различные публикации, в которых выражаются необоснованные опасения, якобы, по поводу разгула сепаратизма в том или ином регионе, зарождающегося конфликта. Мне, как помощнику Президента, часто приходится бывать в этих регионах, и я со всей ответственностью заявляю, что это не так. Я не исключаю, что какие-то общества действуют в этих регионах, но это не те силы, которые могут вызывать опасения, поскольку никаким авторитетом они не пользуются. А массы ощущают себя полноправными гражданами Грузии и заинтересованы в социально-экономическом решении проблем.

— Существует ли структура, которая занимается отслеживанием межнациональных настроений?

— При Госканцелярии действует Институт общественного мнения, который занимается проведением социологических опросов, отслеживанием межнациональных настроений и т. д. Подобные опросы весьма помогают в работе нашей службы и, в частности, в прогнозировании настроений диаспор, которых в Грузии немало. Самыми большими диаспорами являются армянская, азербайджанская и русская, это составляет около миллиона человек. С сожалением приходится отметить, что редет еврейская диаспора, в частности, в Тбилиси. А ведь Тбилиси тем и самобытен, что в нем слилось множество культур. И это очень важный фактор. И поскольку мы заговорили о культуре, здесь же отмечу и роль журнала «Литературная Грузия», который на протяжении долгих лет является как бы зеркалом культуры Грузии. Да и не только Грузии. Помню, в 60-е годы, когда я учился в Ленинграде в аспирантуре, ваш журнал пользовался там огромной популярностью, потому что на его страницах, помимо грузинских авторов, печатались и российские, которым путь в центральную прессу был заказан из-за цензурных соображений. Журнал «Литературная Грузия» в то время был чуть ли не диссидентским изданием. И я кипами возил его из Тбилиси в Ленинград, как глоток свежего воздуха.

— Раз уж мы заговорили о культуре, поговорим и об образовании. Сколько в Грузии негрузинских школ?

— В Грузии около 500 негрузинских школ. Это немалая цифра для такой небольшой республики. Школ нетитульной

национальности у нас, в Грузии, больше, чем во всех республиках СНГ (исключая Россию) вместе взятых.

— Грузинский язык объявлен государственным. Как он преподается в этих школах? Ведь ни для кого не секрет, что у нас в республике в местах компактного проживания граждан негрузинской национальности, мягко говоря, грузинским языком не очень-то владеют. Какие меры предпринимаются для того, чтобы исправить это положение?

— С преподаванием грузинского языка у нас большие проблемы. И нехватка преподавателей грузинского языка ощущается не только в названных вами регионах, но и в высокогорных районах Грузии. Министерство просвещения пытается решить эту проблему, вплоть до предоставления существенных льгот преподавателям — обеспечение их жильем, высокой зарплатой, выделением земельных участков и т. д. Но, к сожалению, следует признать, преподавание государственного языка пока еще не на должном уровне.

— Как Вы относитесь к термину нацменьшинство?

— Крайне отрицательно. И это не только мое сугубо личное мнение. Такова позиция и всех существующих в Грузии обществ нетитульной национальности, которых в общей сложности свыше сорока. Таково же и мнение представителей духовенства. Все единодушны в том, что этот термин в какой-то степени унизителен. Не нацменьшинство, а народ Грузии — таково общее мнение.

— Несмотря на то, что в Грузии на сегодняшний день нет причин для межнациональной розни, в природе, тем не менее, таковая существует. На Ваш взгляд, что должно способствовать ее искоренению?

— Буду краток. Уважение к другой нации. Кстати, политика, проводимая Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, всецело направлена на то, чтобы люди всех национальностей нашей страны жили в любви и согласии.

Беседу вела Ирина ЗУРАБАШВИЛИ



Я МНОГИМ ОБЯЗАН ЖУРНАЛУ

(БЕСЕДА С РОМАНОМ МИМИНОШВИЛИ)

— Самое яркое воспоминание, связанное с «Литературной Грузией»?

— Это не совсем «литературное» воспоминание. Во время первых президентских выборов в Грузии шла ожесточенная борьба, и не только политическая. Мне, как одному из руководителей оппозиционного Союза национального согласия, грозила определенная опасность, и нашим политическим союзникам — бывшим «афганцам» — пришлось «сотрудничать» с журналом, охраняя вход в мой кабинет и всюду сопровождая меня. Однако меры предосторожности не помогли: милицейский наряд по приказу Гамсахурдиа учинил настоящий погром в офисе нашего кандидата в президенты Валериана Адвадзе. На другой день правление нашего Союза проводило совещание в «Литературной Грузии». Мой редакторский кабинет оказался хорошим «убежищем». После совещания я обнаружил на столе милицейскую фуражку, забытую во время потасовки между сотрудниками милиции и членами Союза в офисе Адвадзе и кем-то в шутку принесенную мне в подарок. Эта «реликвия» до сих пор хранится в редакции как напоминание об одном из бывших редакторов «Литературной Грузии» и о том смутном времени, которое нам, к сожалению, пришлось пережить.

— Чем помогла Вам работа в «Литературной Грузии» в Вашей нынешней деятельности?



— Почти десять лет я был главным редактором журнала. Это мне дало очень многое. Во-первых, у меня были неплохие контакты с представителями современной русской литературы, правда, они установились еще тогда, когда я работал секретарем Союза писателей Грузии, но в период моего редакторства активно поддерживались. Во-вторых, мне приходилось сталкиваться не только с литературными проблемами, но и с проблемами социальными, экономическими, политическими, демографическими и многими другими, это меня во многом обогатило. Можно сказать, я многим обязан журналу.

— На каком поприще, на Ваш взгляд, Вы принесли больше пользы стране — как писатель или как политик?

— Мне трудно об этом судить, но все же, полагаю, мое основное дело — писательство. Двадцать пять лет своей жизни я посвятил переводу «Иллиады» Гомера на грузинский язык, это главное, можно сказать, достижение моей жизни. Что касается политики, то моя деятельность на этом поприще определена последними событиями нашей истории. Я не мог стоять в стороне от жизни и счел своим долгом принять посильное участие в происходящих процессах. Думаю, какую-то пользу общему делу все же принес. На политическом поприще пытаюсь использовать свой опыт ученого, писателя, общественного деятеля, и то, что не будучи ни юристом, ни экономистом я, тем не менее, занимаюсь этими вопросами, это не минус, а скорее мой плюс, в том смысле, что принимать законы без учета опыта писателей, ученых, общественных деятелей невозможно. Только экономисты, только юристы не могут определять политику страны. Сплав общих сил, опыта и знаний как раз и дает положительный результат и оправдывает мое присутствие в политике.

— Самый хороший возраст для политика, на Ваш взгляд?

— На этот вопрос, помнится, как-то отвечал наш Президент: «Самый лучший возраст для политика — это мой!» Я — ровесник Президента и полностью с ним согласен.

— Самая большая победа и самое большое поражение в Вашей жизни?

— Самая большая победа — я опять возвращаюсь к этому — «Иллиада» Гомера. Не знаю, как оценят ее будущие поколения, но не сочтите за нескромность, я вошел в историю грузинской литературы как первый переводчик «Иллиады», так же как Гнедич — в русскую. Что касается самого большого поражения, этого я, пожалуй, назвать не смогу. Мелких поражений было предостаточно во всех областях — и в

литературной деятельности, и в политике, может, и в личной жизни. Но что-либо глобальное не припомню.

— **Книга, которую Вы перечитывали бы бесконечно?**

— Таких книг немало. К сожалению, нет времени их перечитывать. Но тянет к ним постоянно. Часто перечитываю стихотворения Галактиона Табидзе. Большое удовольствие доставляет возвращение к Руставели — с каждым разом я обнаруживаю в нем что-то новое, над чем раньше и не задумывался.

— **А из русских классиков?**

— Из русских классиков, безусловно, Пушкина. Люблю Есенина и, может это покажется странным, — Маяковского. Его лирику. Это совершенно другой поэт, жаль, что он растратил свой талант на революционную идею.

— **Как Вы считаете, остались ли у Вас какие-либо нереализованные идеи?**

— Очень много нереализованного... Да, не будь этого, я, конечно, ушел бы и из политики, и из литературы, и из жизни, наверное. Потому что нет смысла жить, если все осуществилось... И все же жаловаться на судьбу не могу, хотя чувство неудовлетворенности есть, кое-что в жизни можно было сделать и лучше, на что-то время потрачено впустую и т. д. А может, большего и не надо. Надо только помнить, что каждое новое дело требует передышки.

— **Сколько раз в жизни Вы любили? Как Вы думаете, любовь бывает только раз?**

— Очень трудный вопрос (смеется). Увлечений... Их было очень много... Нет... Не очень много. Но все же немало. Начиная со школьных лет... Любовь, на мой взгляд, это поклонение образу, созданному в твоём воображении, и объектом любви может оказаться только тот, кто подпадает под этот образ. Образ с годами меняется, меняется и объект любви, но принцип соответствия остается неизменным. Вот так-то.

Беседу вела Ирина ЗУРАБАШВИЛИ



Михаил КВЛИВИДЗЕ

«СЛОВА ПОДСКАЗЫВАЕТ БОГ...»

Это произошло в Будапеште. В местной литературной газете были напечатаны переводы моих стихов, среди них и «Монолог Иуды». По этому случаю мои иностранные друзья пригласили меня в винный погребок — «борозо».

Застолье было в самом разгаре, когда пришел некий священнослужитель в рясе и назвал мою фамилию: «Настоятель нашей церкви хочет познакомиться с вами, если вы не возражаете». Я согласился. Договорились, где и когда встретимся. На следующий день я и мой переводчик пришли к зданию церкви, во дворе которой мальчишки играли в футбол. Вместе с ними бегал мужчина средних лет в спортивной одежде и со свистком во рту. Заметив нас, он передал свисток одному из играющих и направился в нашу сторону... Так я познакомился с Имре Шимоном — настоятелем самой большой протестантской церкви в Будапеште, антифашистом и борцом за мир.

Наша беседа продолжалась в его семье — мы говорили о Боге.

— Кто или что побудило вас написать «Монолог Иуды»? — спросил меня Имре.

— Как вам сказать... Мне кажется, в природе все существует изначально и рано или поздно обязательно проявится. Так же и стихи. У меня чувство, будто мои стихи, в том числе и «Монолог Иуды», написал не я, точнее, сочинил не я, что они уже существовали до меня, а я всего лишь нашел и «воспроизвел» тексты. Вы понимаете, что я хочу сказать? Стихи похожи на не открытые еще «таинственные острова», они существуют где-то, сами по себе, независимо от того,

имеем мы представление о них или нет, и нам остается только открыть, обнаружить их — вот и все! Если б я не написал «Монолог Иуды», то, уверен, это сделал бы кто-то другой.

— Ага! Значит подлинный автор стихотворения...

— Не поэт. Он только «находит» стихи.

— А кто же настоящий творец? Кто подсказывает поэту, где «лежат» стихи?

— Не знаю. Может быть, интуиция, вдохновение...

Имре усмехнулся.

— Когда я пишу свои проповеди, а на это порою уходит целая ночь, утром сам же удивляюсь, как я создал все это. Кажется, будто кто-то подсказал мне.

— Бог?

Священник ничего не ответил.

— Кого можно назвать «верующим человеком»? — спросил я.

— Если вы верите, что на свете есть некто совершеннее и могущественнее вас — человека, значит, вы верующий.

— Совершенным и сильным может быть и человек.

— Человек не Бог.

Я почему-то разозлился.

— Бог, Бог... Где он, этот ваш Бог? Я расскажу вам одну историю, интересно, что вы на это скажете. Моя мать была верующей женщиной. Я не могу сказать, что она была слишком набожной потому, что церкви она не посещала, не крестилась и не соблюдала постов, но о Боге говорила всегда с благоговением. Во всяком случае, у ее доброты была не только нравственная, но и религиозная основа. Я в этом убежден... Помню, как-то во время войны мы стояли в очереди за керосином. Мне было тогда шестнадцать лет. Нам пришлось стоять долго, и мы сменяли друг друга. Когда, наконец, пришла наша очередь — это было уже на следующий день — в подвал спустился я. Получив свою долю, я заплатил и, вернувшись домой, вдруг увидел, что продавец керосина забыл оторвать талон от «карточки», т. е. мы могли взять керосин еще раз. Обрадовавшись, я сообщил эту новость матери. Она побледнела: «Как тебе не стыдно, это же обман! Иди сейчас же и отдай талон!» Делать было нечего, я вернулся назад. У входа в подвал толпился народ, и меня не пустили: «Не лезь без очереди». Я поднял шум, выглянул продавец, спросил, в чем дело. Я протянул ему «карточку»: «Вы забыли оторвать та-

лон». Продавец от удивления выпучил глаза. Все вокруг замолчали. «Кто послал тебя?» — тихо спросил он. Я ответил, что мать. Он швырнул черпак об землю и закричал истощенно: «Твоя мать что, Христос? Ступай домой и принеси бидон!» — велел керосинщик. Когда я примчался с бидоном, он налил керосин, оторвал талон и... одним словом, так это было.

Мы с Имре помолчали. Затем я продолжал:

— Вы с такой верой говорите о Боге, что я чуть было сам не поверил. Я шучу, конечно! Советские люди, как известно, в Бога не верят. Хотя некоторые заветы христианской морали и для нас приемлемы. Например, честность, человеколюбие, доброта... Потому я и рассказал вам эту историю.

— А все же, почему?

— Потому, что если и вправду есть Бог, то в ту минуту, когда я возвращал керосинщику талон, Бог был рядом со мной.

— Бог и сейчас с вами, раз вы помните эту историю, — спокойно сказал Имре. — А ваша мать жива?

— Нет, скончалась. И об этом я тоже хотел спросить у вас, в связи с Богом... Моя мать умерла в страшных муках в возрасте сорока двух лет. Разве это справедливо? Почему она должна была уйти из жизни так рано?

Имре развел руками. Я продолжал, почему-то волнуясь, как на исповеди:

— Знаете, как она умирала? У нее был рак. Ни операция, ни лекарства не помогли. Два месяца она лежала в изоляторе, так как держать ее в общей палате было нельзя. Я находился рядом с ней... Потом, когда врачи махнули рукой и оставили нас на произвол судьбы, я каждый день бегал в церковь, ставил свечи и молил Бога, чтобы он спас мою маму... Но это не помогло. Той ночью, когда она умерла, я в последний раз пошел в церковь. Свечи не зажигал и даже внутрь не вошел — плюнул на дверь и с тех пор обхожу церковь стороной... Сам не пойму почему: то ли стыдно мне, то ли боюсь...

Имре поднял голову и посмотрел мне в глаза.

— Ты не бойся, Бог на тебя не обиделся.

Я был растерян, такого ответа на свой «атеистический», богохульный монолог я не ожидал. А священник продолжил со скорбной улыбкой:

— Ты допускаешь такую же ошибку, как и многие дру-

гне: равняешь себя с Богом! «Я в Тебя уверую, буду посещать церковь, а Ты храни меня, заботься обо мне!» Таков ход твоих мыслей, не так ли? Но ты ошибаешься. Во-первых, такая постановка вопроса сама по себе безнравственна: грош цена доброму делу, за которое требуют плату. И второе. Ты вкладываешь не тот смысл в само понятие Бога. Смерть — закон природы, и наше рождение или кончина не входят в «компетенцию» Бога! В конце концов, его самого убили! У Господа нашего совсем другое предназначение... Ты читал Библию?

— Нет.

— А она есть у тебя?

— Нет.

Имре извинился и вышел из комнаты. Немного погодя он вернулся с вином и на скорую руку накрыл стол. После первых тостов я опять спросил его:

— Все-таки, в чем суть вашей деятельности? Я, например, пишу. Мои книги кто-то читает. Хорошие они или плохие, но книги эти как-то воздействуют на читателя, и, значит, я в меру своих возможностей служу обществу, подобно крестьянину, выращивающему хлеб, или врачу, лечащему людей... А вы — молодой человек и... священник. Согласитесь, эта профессия выглядит несколько анахронично в наш век... Чем вы занимаетесь?

Имре пожал плечами:

— Проповедую добро, любовь к ближнему...

— Это все?

— Ах, вас интересует моя гражданская профессия? Я историк, издал несколько книг. Видите на полке книги? Больше половины — историческая литература. А что касается моей церковной деятельности, об этом я не могу рассказать коротко.

— Значит, вы проповедуете добро? Но ведь и писатель делает то же самое?

— Верно. В ваших стихах, например, я именно это и вычитал.

— Но ведь я в Бога не верю.

— Откуда вы знаете?

Я не нашелся, что ответить. Имре продолжал:

— Недавно в нашем квартале случилось несчастье: у женщины погиб ребенок. Восемилетнюю девочку сбила машина...

Эту страшную весть сообщили мне вечером, и я сразу же бросился туда. Я подоспел как раз вовремя: опоздай я немного, несчастная мать покончила бы с собой, — она пыталась выброситься из окна. Всю ночь я говорил с ней. О чем говорил, не помню. Видно, Бог мне подсказывал слова. Я уверен, что в ту ночь Он был со мной. Утром, возвращаясь домой, я не сомневался, что женщина эта спасена, что она не погубит свою душу и найдет в себе силы жить... Наверное, в этом моя профессия.

— Значит, вы знаете...

— Ничего я не знаю! Я только верю, а это больше, чем знание.

1981 год



Отар ДЖАНЕЛИДЗЕ

«ГРУЗИНСКАЯ МЫСЛЬ»

Первое двадцатилетие XX столетия в грузинской действительности было годами поисков новых путей и новых идеалов. Наступивший век возродил надежды на свободу. С начала 900-х годов на общественную арену последовательно выходят различные политические партии и группы, деятельность которых придает новый ритм застоявшейся жизни. Оживилась и пришла в движение общественная мысль. Пресса становится главной трибуной для выражения различных мнений и взглядов. На страницах газет и журналов ведется острая полемика, своеобразная борьба мыслей и идей, пробуждавшая мыслящих грузин ото сна и призывавшая их к действию.

Печатные издания обретают значительный вес в общественно-политической жизни. Поэтому не удивительно, что более или менее влиятельные партии заботились об издании собственного периодического органа.

В многообразном политическом спектре тогдашней Грузии выделяется национал-демократическое движение. Национально-демократическое мировоззрение привнесли в общество «тергдалеулни» — «испившие воды Терека» грузинские шестидесятники. Национал-демократизм стал для угнетенного народа освободительным учением, а основным его лозунгом — «Мы принадлежим самим себе». Он выражал чавчавадзевскую идею восстановления грузинской государственности.

Илья Чавчавадзе и его соратники определили магистральную линию развития национал-демократического движения на 40—50 лет вперед. Их заслугой является и учреждение отдельных изданий, служащих этой идее. Илья Чавчавадзе со-

бирался также основать национал-демократическую партию, была даже составлена программа этой политической организации, но начинание осталось неосуществленным при его жизни.

Национал-демократическая журналистика, опиравшаяся на публицистические и издательские традиции знаменитых шестидесятников, явилась достойным продолжателем их дела в течение первого двадцатилетия нашего века.

В годы первой русской революции еще выходила «Иверия» Ильи Чавчавадзе, свои газеты и журналы имели социал-демократы, федералисты и анархисты. Газете с новым направлением нелегко было бы приобрести читателя, и тем не менее национал-демократы решили издавать собственный периодический орган. К тому времени издавать газету или журнал в границах империи было уже сравнительно просто. Этому способствовали демократические уступки самодержавия, вызванные ростом революционного движения. 24 ноября 1905 г. царское правительство утвердило «Временные правила о периодических изданиях». Будущему издателю следовало обратиться к губернатору с соответствующим заявлением. Для получения разрешения необходимо было представить программу периодического органа. Если в программе не обнаруживалось ничего, что шло в разрез с интересами государства, и к тому же благонадежность издателей-редакторов не вызывала никаких сомнений, власти давали разрешение на издание. Издатель получал соответствующее свидетельство за подписью губернатора, один экземпляр которого посылался комитету по делам печати (орган цензуры), второй же должен был храниться в типографии, где собирались печатать журнал либо газету.

Первоначально национал-демократы намеревались издавать в Тбилиси ежедневную политическую и литературную газету — «Автономная Грузия» на грузинском языке. Планировалось издание и еженедельного иллюстрированного приложения на грузинском и русском языках. Соответствующее заявление на имя тбилисского губернатора представила как издатель Элисабед Ираклиевна Джамбакур-Орбелиани. Редакторство было доверено Георгию Гвазава. Программа газеты выглядела следующим образом: 1. Передовицы по вопросам права, политики, финансов, истории, литературы и общественной жизни. 2. Дневник городской жизни. 3. Грузия. 4. Россия. 5. За рубежом. 6. Стихи, 7. Обзор прессы. 8. Театр и музыка. 9. Телеграммы. 10. Фельетоны. 11. Объявления.

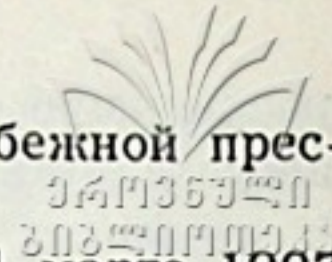
Согласие губернатора и соответствующий документ на

разрешение издания газеты национал-демократы получили 19 августа 1906 года, но «Автономная Грузия» так и не вышла. В архивных материалах нет никаких указаний на причину этого. Финансовая и материально-техническая стороны не могли стать препятствием для основателей газеты. Во всяком случае, возможность выпустить несколько номеров у них была. Это доказывает и тот факт, что всего через четыре месяца национал-демократы издали газету под другим названием. Причина того, что газета не вышла, должна быть связана с ее названием. Дело в том, что название «Автономная Грузия» прямо заявляло об устремлениях и позиции издателей, сторонников идеи установления в Грузии политической автономии. Идея эта была не нова, но у нее было намного больше противников, чем сторонников, в лице членов и последователей социал-демократической партии. Выходить в свет с таким смелым названием, в то время как широкой общественности почти неизвестны имена руководителей издания, было действительно рискованно.

Это мое предположение полностью подтвердили дальнейшие исследования и поиски. В музее грузинской литературы оказался документ, проливающий свет на интересующий нас вопрос. Это письмо Георгия Гвазава, адресованное Дмитрию Хоштария (Дуту Мегрели) и датированное 2 сентября 1906 года. Г. Гвазава благодарит адресата за присланные статьи и стихотворения и затем извещает его: «Начало издания немного запаздывает по ряду причин. Сначала само название газеты «Автономная Грузия» вызвало шум. Мне передали, чтобы я сменил название. Препятствий, кроме этого, хватает, но надеюсь, что через 2—3 недели дело сдвинется» (Музей грузинской литературы, фонд Дуту Мегрели, дело № 6369-с).

Две-три недели растянулись на несколько месяцев. Смена названия газеты оказалась необходимой.

В январе 1907 г. национал-демократы решили издавать новую газету, на этот раз на русском языке. Роль издателя и редактора взял на себя Георгий Гвазава. Именно на его имя выдано свидетельство, подписанное губернатором. Газета, которую решили назвать «Грузинская мысль», должна была быть еженедельной. Профиль оставался прежним — политико-литературным. Более конкретной стала и программа. В частности, были представлены следующие рубрики: 1. Действия и распоряжения правительства. 2. Местная, российская и зарубежная хроника. 3. Статьи и фельетоны по вопросам политики, науки



и искусства. 4. Обзор местной российской и зарубежной прессы. 5. Беллетристика и 6. Объявления.


Первый номер «Грузинской мысли» вышел 11 марта 1907 года. Это был первый печатный орган национал-демократов, увидевший свет. Широкая общественность незнакома с этой газетой, ставшей библиографической редкостью, более того — это печатное издание осталось вне поля зрения специалистов. А между тем оно очень интересно как с точки зрения нашей журналистики, так и с точки зрения истории грузинского общественного мышления.

«Грузинская мысль» — 12-страничная газета небольшого формата (32×23). Она была напечатана в типографии «Грузинского издательского товарищества». Газета без какого-либо эпиграфа или девиза. Не указано и чей это орган. Но установить это просто: наряду с архивными данными существуют воспоминания Г. Гвазава и В. Черкезишвили, из коих становится очевидно, что Г. Гвазава, издателю и редактору «Грузинской мысли» — партийного органа национал-демократов помогали в основании газеты Варлам Черкезишвили и Михако Церетели.

Публицисты «Грузинской мысли» то ли по конспиративным, то ли по иным соображениям не сочли нужным раскрывать свои имена. Ни одна статья, напечатанная в газете, не подписана. Это, разумеется, осложняет попытки установить имя автора, однако кое-что уточнить все же можно. К примеру, передовица газеты под заголовком «Право Грузии» определенно принадлежит Михако Церетели.

В 1909 году М. Церетели опубликовал в журналах «Эри» («Нация») и «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии») большое исследование «Право нации». Аргументы и положения, подтверждающие политическое право Грузии, почти полностью, без изменений перенесены из передовицы «Грузинской мысли» в этот труд ученого.

В «Праве Грузии» говорится о Декларации российского правительства, обращенной к государственному Совету. Волею монарха она предполагает превращение России в правовое государство. В таком случае у грузинского народа есть святое право обратиться к законодателям обновленной России с петицией: «Российское государство становится правовым государством, поэтому Грузия требует защиты своих оговоренных Трактом прав, столь торжественно подтвержденных многочисленными манифестами императоров».



В передовице отмечалось, что согласно Георгиевскому Трактату 1783 года за грузинским народом сохранялась полная автономия внутреннего управления, право на автокефалию национальной церкви, ведение судопроизводства на родном языке... Все это торжественно было подтверждено Манифестами Павла I и Александра I. Однако Россия нарушила эти пункты договора. Она ввела русское правление, упразднила независимость грузинской церкви, изгнала грузинский язык не только из судопроизводства, но даже из школы. Поэтому грузинский народ требует от российских законодателей восстановления справедливости.

Почти полторы полосы газеты занимает статья «PRO AUTONOMIA». В публикации рассказывается о тяжелом и безрадостном существовании многочисленных народов Российской империи, подчеркивается, что «освобождение — в радикальной смене политического строя». Народ должен получить право сам устроить свою внутреннюю жизнь. Эта задача предусматривает полную децентрализацию всей власти как законодательной, так и исполнительной и необходимость ее передачи органам местного самоуправления. Децентрализация власти приведет к демократической автономии. Вынести эту идею на общегосударственную трибуну, привлечь русскую политическую мысль к вопросу о необходимости созыва местного Сейма — вот великая и благородная цель автономистов, — заключает автор статьи.

Если учесть, что подобную мысль широко развивал в своих публичных лекциях Георгий Гвазава, можно предположить, вышеозначенная статья вышла из-под его пера.

На четвертой и пятой полосах газеты помещена первая часть пространной статьи «Централизм и федерализм». В статье говорится, что в России нет сейчас ни одной республиканско-демократической партии, которую в той или иной мере не характеризовали бы централистские тенденции. Но вместе с тем руководители этих партий забывают, что принцип централизма в основе своей противоречит их же демократическому политическому идеалу.

Нам неизвестно отношение автора публикации к федерализму, поскольку опубликовано лишь начало статьи. Ее продолжение должно было быть в следующем номере «Грузинской мысли».

«Золотая булла Грузии» — так озаглавлена статья, посвященная правам народов. «История человечества, — читаем

в статье, — это непрерывная и суровая борьба за права и свободу». Маленькая Грузия, окруженная со всех сторон враждебными племенами и восточной деспотией на протяжении веков, перенесла бесчисленные войны за право свободного существования. Но она выдержала эту борьбу, сумела закрепиться в истории как суверенная страна и в борьбе вернула себе свободу. Величественный памятник этой победе — Георгиевский Трактат. Этот документ является монументом нашим правам. Это — золотая булла Грузии! Грузинский народ с надеждой ждет восстановления своих законных прав, сформулированных в Трактате 1783 года», — говорится в конце статьи.

Но царизм считал иначе. Он не только не согласился восстановить законные права грузинского народа, но не пожелал даже обсуждать этот вопрос. Решением администрации газета национал-демократов была запрещена сразу же по выходе.

В фонде тбилисского Комитета по печати, в папке, которая содержит материалы, касающиеся «Грузинской мысли», оказался интересный документ. В нем сказано: «Я, временный генерал-губернатор Тифлиса, генерал-лейтенант Тимофеев, 18 марта 1907 года... постановляю: арестовать шрифт выходящей в Тифлисе еженедельной газеты «Грузинская мысль» и переслать его в Тифлисское Комендантское управление, выполнение чего возлагаю на исполняющего обязанности полицмейстера г. Тифлиса» (ЦГИА Груз. ф. 480, оп. 2, д. № 43, л. 2). Полиция незамедлительно выполнила распоряжение губернатора. Шрифт изъяли, а редактор-издатель был арестован и впоследствии сослан.

В справочнике «Библиография русской периодики Грузии», составленном Г. Зерцаловым, отмечено, что вышло в свет десять номеров «Грузинской мысли». Они, якобы, хранятся в библиотеке Института марксизма-ленинизма. Не знаю, на чем основано подобное утверждение Г. Зерцалова, но оно не соответствует действительности. В упомянутой библиотеке вообще нет ни одного номера газеты «Грузинская мысль». Архивный же документ прямо указывает, что 13 марта 1907 г. газетный шрифт был арестован. Это произошло через два дня после выхода первого номера газеты. О том же свидетельствует и Г. Гвазава. Он пишет: «В первом же номере согласно нашей программе мы потребовали автономии. В результате газету закрыли, меня, как редактора, сослали» (Г. Гвазава, Национал-демократическая партия Грузии, Париж, 1928 г., стр. 7).

Таким образом, издание первой газеты национал-демокра

тов «Грузинская мысль» прекратилось после выхода первого же номера. Трудно судить о достоинствах и недостатках издания по одному номеру, но одно можно сказать ^{наверняка!} «Грузинская мысль» смело поставила перед читателем главнейшее политическое требование не только национал-демократов, но и всего грузинского народа — требование о восстановлении собственной государственности, хотя бы в форме автономии. По словам Г. Гвазава, «покоренный народ не мог требовать большего».

«Грузинская мысль» положила начало печатному слову национал-демократов, важнейшими трибунами которых в последующие годы стали журналы «Эри» («Народ») и «Клде» («Скала»), газеты «Самшобло» («Родина») и «Сакартвело» («Грузия»).



НАШ ГУРАМ

Грузинская литература, весь грузинский народ понесли невосполнимую утрату — скончался выдающийся писатель и общественный деятель современности Гурам Панджикидзе.

В течение всей своей творческой деятельности Гурам Панджикидзе постоянно находился в центре общественной и литературной жизни, творчески развивал многовековые традиции грузинской словесности и внес свой вклад в ее развитие.

Гурам Панджикидзе родился 22 апреля 1933 года. В 1951 году окончил Тбилисскую 6-ю мужскую среднюю школу и в том же году поступил на факультет металлургии черных металлов Грузинского политехнического института, который окончил в 1956 году. С 1957 года начал работать на кафедре металлургии черных металлов ГПИ, откуда был переведен на должность инженера безопасности института, а затем послан для повышения квалификации во Всесоюзный институт безопасности в г. Ленинграде. В 1959—1963 гг. работал редактором многотиражной газеты ГПИ, а с 1963 года полностью связал свою жизнь с литературой. В разное время был ответственным секретарем и главным редактором журнала «Цискари», ответственным секретарем газеты «Литературули Сакартвело», главным редактором альманаха «Гантиади», директором издательства «Сакартвело», секретарем Союза писателей Грузии.

С 1992 года до последнего своего дня Гурам Панджикидзе являлся председателем Союза писателей Грузии. На этой почетной должности полностью проявились его стойкость, неиссякаемая энергия и твердый характер. Он многое успел сделать для дальнейшего развития грузинской литературы, неустанно боролся за ее честь и достоинство, за единство нашей писательской организации, проявлял заботу о писателях.

Литературно-творческую деятельность Гурам Панджикидзе начал в 1958 году, когда были опубликованы его первые рассказы и очерки. Его имя сразу же справедливо было от-

несено к литературному поколению «шестидесятников». К тому же, у Гурама Панджикидзе был свой, отличный от других, писательский мир, свое мировоззрение, тематика, проблемы и оригинальные художественные средства их отображения.

Романы Гурама Панджикидзе — «Седьмое небо», «Камень чистой воды», «Год активного солнца», «Спираль», «Чертово колесо» сразу же после публикации приняли и полюбили грузинские и не только грузинские читатели.

Большой успех выпал на долю первого же романа «Седьмое небо». Особую роль в этом произведении сыграло новаторское решение образа главного героя Левана Хидашели, явившегося одним из качественно новых литературных типов 60-х годов.

С живым интересом был принят и второй роман Гурама Панджикидзе «Камень чистой воды». В нем писатель выразил свое бескомпромиссное и непримиримое отношение к тому нравственному и духовному перерождению, которое в силу определенных причин затронуло часть общества и создало явную угрозу общественной морали и национальному характеру. В то время такое выступление требовало от писателя большого мужества, и на Гурама Панджикидзе обрушилось немало неприятностей.

Новыми проблемами и оригинальными средствами их отображения отличается третий роман Гурама Панджикидзе «Год активного солнца», который затрагивает духовную жизнь людей, их переживания и интересы, возникшие в условиях научно-технической революции. В то время эта тема в нашей литературе была почти не затронута, и Гурам Панджикидзе заполнил этот пробел.

Проблемы нравственности, природы и технической цивилизации отражены в романе «Спираль». Построенное на остром сюжете, это произведение вызвало большой интерес читателей и по сей день читается с неослабным вниманием.

Творческой победой Гурама Панджикидзе можно считать роман «Чертово колесо», который читатели получили около двух лет назад и который, к сожалению, оказался последним произведением писателя в жанре романа. Этот роман-эпопея отображает почти полувековую историю нашей страны, жизнь людей нескольких поколений в сложное и полное противоречий время, наложившее свой отпечаток на их природу, характеры, устремления и обусловившее их духовную трансформацию и судьбы.

Отдельно следует отметить рассказы, которые Гурам Панджикидзе опубликовал в начале своего творческого пути.

Гурам Панджикидзе был очень талантливым публицистом и, не щадя энергии, работал в этой области. В разное время им созданы книги «Тушети», «Моя Тушети», «Тбилиси вчера, сегодня, завтра», «Бессмертие Грузии», «Там, где жили Адам и Ева», «Человек, энергия, атом», «Человек, время, проблемы» и другие, освещающие на высокопрофессиональном уровне актуальные вопросы нашего времени.

Гурам Панджикидзе совершенно справедливо считается одним из основоположников научно-технической журналистики. Велик его вклад и в спортивную журналистику. Нашему национальному спорту он посвятил немало очерков и отдельных книг, особенно футболу, замечательным знатоком которого являлся.

По произведениям Гурама Панджикидзе созданы спектакли и художественные фильмы, его романы переведены и изданы на языках многих народов мира. Писательская и общественная деятельность Гурама Панджикидзе была оценена по достоинству, ему присуждались премии имени Руставели, Государственная премия Грузии, премия имени Мемеда Абашидзе.

Гурам Панджикидзе как истинный патриот с оружием в руках воевал в Абхазии за территориальную целостность Грузии. За проявленные в боях мужество и самоотверженность он был награжден орденом Вахтанга Горгасали.

Гурам Панджикидзе был членом и организатором многих обществ. Особенно гордился тем, что являлся президентом им же основанного Общества Давида Строителя, которое с честью прошло через многие испытания и явилось инициатором многих благородных начинаний.

Гурам Панджикидзе был главой замечательной семьи, личностью, отличающейся сердечностью и бескорыстной любовью. Он был полон энергии, творческих планов, и его неожиданный уход болью отозвался в наших сердцах.

Личность Гурама Панджикидзе, его творчество и общественные заслуги никогда не будут забыты.

Некролог подписали более шестидесяти представителей художественной и научной интеллигенции Грузии.

ВОИН СЛОВА



Гурам Панджикидзе принадлежал к тем людям, которых невозможно представить мертвыми. В нем было столько энергии, столько яростной непримиримости ко всему тому, что мешает жизни быть жизнью. Столько презрения ко всему мертвому, притворяющемуся живым, и одновременно, — застенчивой, почти детской, ранимой нежности к людям. Такая любовь к жизни бывает только у воинов.

Когда-то в его доме он снял с руки часы и подарил мне, они продолжают идти, и мне кажется, в них стучит его сердце.

Грузия еще будет такой, какой он хотел ее увидеть. Ни Россия и ни Грузия не мыслимы в истории без великой литературы не только прошлого, но и будущего, и обе литературы выживут, несмотря на все испытания, посланные судьбой нашим народам, выживут благодаря таким воинам за честь и достоинство Слова, каким был Гурам Панджикидзе.

Евгений ЕВТУШЕНКО
Телефонограмма из Оклахомы (США)



«...НА ЗЕМЛЕ ЭТОЙ ВЕЧНОЙ ЖИВУ»

Не так давно, в июне этого года, в Париже скончался Булат Окуджава — один из самых известных русских писателей и сын одной из самых трагических грузинских семей. Пятеро из шести сыновей одержимой революционным пылом кутаисской семьи Окуджава были расстреляны в тридцать седьмом году. Среди них был и Шалва Окуджава — отец Булата. Сестра Шалвы — Ольга, жена Галактиона Табидзе, погибла в концлагере уже во время войны.

Родители Булата Окуджава до ареста жили в Москве, возвратиться куда Булату разрешили лишь после их реабилитации в 1957 году. К этому времени ему было 33 года, и за спиной его остались омраченная сиротством юность, годы войны добровольцем, филологический факультет Тбилисского университета, учительство и журналистская работа в русской провинции.

Первую книгу Булата Окуджава издала в 1957 году именно та калужская газета «Знамя», в которой Булат время от времени публиковал так соответствующие его патетическому имени очерки и стихи. Второй лирический сборник вышел уже в Москве в 1959 году. Эта книга, качественно отличающаяся от первой, стала печатным подтверждением его зарождающейся славы как поэта и как барда.

Булат со своей неразлучной гитарой и неповторимой интонацией зачаровал целое поколение: он говорил именно тогда, там и то, что жаждала услышать его экзальтированная, полная надежд и иллюзий аудитория, прежде всего московская, поскольку настроения, намеки, реалии поэзии Булата Окуджава были рождены ностальгией по Москве, по Арбату:

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое Отечество,
ты и радость моя, и моя беда...»

Сейчас я уже не удивляюсь, что первый визит Булата, тогда уже известного барда, в наш Союз писателей прошел довольно бесцветно. Было начало 60-х годов, тогда я был студентом университета и хорошо помню удивленное выражение

лица нашего профессора и ведущего вечера Шалвы Радиани, когда Булат, кончив читать стихи, взялся за гитару...

Не думаю, что в случае с Булатом дал себя знать грузинский ген — скорее благодаря чуткому и безошибочному сердцу он как бы заново обрел свою позабытую родину. Здесь у него появились настоящие друзья, он стал переводить грузинских поэтов, а в его поэзии и, позже, в его прозе, уже четко прослеживается грузинская тема.

Не лишено символики и то, что одна из первых рецензий на книги Булата была опубликована именно у нас, в «Литературной Грузии», и в отличие от московской прессы здесь же впервые объективно и благожелательно был оценен его исторический роман «Путешествие дилетантов (из записок отставного поручика Амираана Амилахвари)».

После 70-х годов Булат Окуджава едва ли нуждался в нашей поддержке: он приобрел всемирную известность, и с ним вынуждены были считаться уже не только вздорные критики, но и сильные мира сего, предпочитавшие закрывать глаза на его продиктованные бескомпромиссной совестью жесты.

К сожалению, наше знакомство не было близким — несколько встреч в Москве, две недели литературного семинара на море, подаренные Коллегией по художественному переводу. Вот, почти и все...

И сейчас вспоминается картина тех времен — море, Кобулет, вечернее застолье, Булат поет свою любимую «Грузинскую песню»:

«Виноградную косточку в теплую землю зарюю
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову,
на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем
на земле этой вечной живу?»

Поет с какой-то особой болью, так, что комок подкатывает к горлу; поет так, словно в этой одной песне хочет выплакать и свое сиротливое детство, и свою потерянную родину, и свою несбывшуюся мечту, хочет обласкать эту уже далекую для него, как будто чужую, но любимую землю, окружающих его людей и поверить им самую сокровенную свою тайну...

С той же болью и с тем же комком в горле прощаемся мы с Булатом Окуджава.

Заза АБЗИАНИДЗЕ

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Нет больше с нами Гиви Орагвелидзе — одного из тех скромных людей, чьи истинные достоинства и заслуги, к сожалению, проявляются лишь после их смерти.

Полная драматизма биография Гиви Орагвелидзе — точное отражение его времени: он родился в 1930 году в Тулузе, в семье грузинского интеллигента, эмигрировавшего во Францию. Мать его была полькой, в семье говорили на двух языках — французском и русском.

Григол Орагвелидзе — отец Гиви — принадлежал к той части грузинской политической эмиграции, которая вернулась на родину в 1947 году, поверив в обещанные прощение и неприкосновенность, и пала жертвой этой иллюзии. В 1950 году Григол Орагвелидзе погиб в чекистских застенках, а его жену и сына сослали в Среднюю Азию. Гиви, в ту пору двадцатилетний студент филологического факультета Тбилисского университета, не успел ни завершить учебу, ни подружиться со своими сверстниками, ни усвоить грузинские обычаи и нравы, ни изучить родной язык.

Лишенные всех прав мать с сыном все же сумели как-то приспособиться к жизни: мать — благодаря блестящему знанию немецкого языка (в Тбилиси многие помнят «танте Лизу»), сын же — знанию французского. Несмотря на многочисленные препятствия, Гиви Орагвелидзе закончил Ташкентский университет, там же защитил кандидатскую диссертацию и стал заведующим кафедрой французской филологии. Русло его жизни резко изменилось после встречи и знакомства в 1979 году с ныне покойным Отаром Нодия, который в то время искал талантливых переводчиков и литераторов для созданной им Коллегии по переводу и литературным взаимосвязям. Гиви Орагвелидзе с супругой переселились в Тбилиси. Всю свою дальнейшую жизнь он связал сначала с Коллегией по переводу (где руководил русской редакцией) и альманахом Коллегии «Кавкасион», а позднее, с 1992 года — с журналом «Литературная Грузия», где до последнего дня заведовал отделом поэзии.

В 1982 году «Литературная Грузия» напечатала замечательное исследование Гиви Орагвелидзе, посвященное «Цветам зла» Бодлера — «Время, ушедшее в книгу». Печатались в нашем журнале, так же как и в альманахе «Кавкасион», его стихи и переводы — Терентия Гранели, Шалвы Кармели, Нико Самадашвили, Шота Чантладзе, Гиви Гегечкори, Тариэла Чантурия и других грузинских поэтов. (Отдельной книгой вышел небольшой сборник русских переводов Терентия Гранели, выполненных Гиви Орагвелидзе). Перевел он на русский язык и своих любимых французских поэтов — Вийона, Превера, Деноса, поляка Галчинского. К сожалению, большая часть этих переводов осталась неопубликованной, так же как и его монография «Стих и поэтическое видение», посвященная школе Парнаса.

Работоспособность, эрудиция и утонченный вкус Гиви Орагвелидзе приносили в будни редакции «Литературной Грузии» свой неповторимый отпечаток. Его профессионализм, вкус сказались и на предыдущем номере нашего журнала, последнем, в создании которого он принял участие, а первая книга из серии недавно основанного приложения к «Литературной Грузии» «Мастера грузинской литературы» — «Михаил Квливидзе» полностью составлена им. Это — его последняя работа. Мы надеемся, что его литературное наследство увидит свет, и в первую очередь выйдет отдельной книгой эссе, посвященное Бодлеру, а наша литературная общественность, пусть с опозданием, но все же услышит голос этого тихого, скромного, но поистине талантливое человека.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ХАРАНАУЛИ Бесик Сильвестрович (1939), поэт. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Первый поэтический сборник «Стихи» вышел в свет в 1968 г. Перевел на грузинский язык произведения поэтов бывших союзных республик, Польши, а также сборник стихотворений болгарского поэта Н. Кинчева (1984 г.).

Произведения Б. Харанаули переведены на украинский, польский, чешский и французский языки. В 1987 году вышел первый сборник его стихов на русском языке.

СТУРУА Лия Шалвовна, поэт. Окончила филологический факультет и аспирантуру Тбилисского государственного университета. Первый поэтический сборник «Деревья в городе» издан в 1965 году.

Произведения Л. Стуруа переведены на молдавский, татарский, венгерский, немецкий, румынский, финский языки. Первые переводы стихов Л. Стуруа на русский язык появились в 1966 году в переводах Ю. Мориц, Е. Евтушенко, А. Вознесенского.

АЛХАЗИШВИЛИ Гиви Иванович (1944), поэт, Главный редактор издательства «Мерани». Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Первый поэтический сборник вышел в свет в 1972 году. Перевел на грузинский язык стихотворения Фета, Владимира Соловьева, Андрея Белого, Александра Блока. Является также автором многих литературно-эссеистических статей. Стихи Г. Алхазидзе переведены на многие языки.

БАКАНИДЗЕ Ирина Юрьевна, прозаик. Первый сборник новелл «Свет, мой свет...» вышел в 1995 году. Рассказы, включенные в сборник, отмечены литературными премиями. На русском языке печатается впервые.

КУЛИШОВА Инна Григорьевна. Родилась в Тбилиси. Окончила филологический факультет Тбилисского государст-

венного университета в 1995 году. По окончании поступила в аспирантуру ТГУ. Занимается исследованием творчества Иосифа Бродского. В этом году в израильской газете «Вести» опубликована подборка стихотворений молодой поэтессы. В нашем журнале печатается впервые.

ГВИНЕПАДЗЕ Нана Северьяновна, поэт, искусствовед, журналист. Окончила факультет театроведения Тбилисского театрального института. Первый поэтический сборник «Гора» вышел в свет в 1968 году. Является автором нескольких поэтических сборников, книг, многих очерков, театральных рецензий, портретов, эссе. В 1991 году вышел сборник ее детских стихов «Ждала сосна весны». Ей же принадлежат грузинские переводы Анны Ахматовой. Работает в газете «Сакартвелос Республика». В этом году отметила 45-летие журналистской деятельности.

ХМАЛАДЗЕ Тамаз Георгиевич (1947), прозаик, журналист. Окончил филологический факультет и отделение киноискусства и телевидения факультета искусствоведения Тбилисского госуниверситета. Первый рассказ опубликован в 1969 году в газете «Литературули Сакартвело». Автор прозаических сборников. Имеет 20-летний стаж работы на грузинском радио. Является главным редактором главной редакции литературно-драматических программ.



Главный редактор ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Амиран АРАБУЛИ (зам. главного редактора), Гурам БЕНАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Георгий ГАЧЧИЛАДЗЕ, Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ, Коба ИМЕДАШВИЛИ, Михаил КВЛИВИДЗЕ, Роман МИМИНОШВИЛИ, Лия СТУРУА, Лиана ТАТИШВИЛИ (отв. секретарь), Тамаз ЧХЕНКЕЛИ.

Художник ОЛЕСЯ ТАВАДЗЕ

Техредактор К. КОТОМИНА
Корректоры: М. МЕРАБИШВИЛИ,
Е. СОПРОМАДЗЕ

„ლიტერატურნაია გრუსია“
საქართველოს მწერალთა კავშირის
ორგანო

Сдано в набор 24.07.97. Подписано к печати 29.01.98.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Печать высокая. Заказ № 969.
Тираж 300.

Цена договорная

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.
Телефоны: 93 65 15, 99 06 59.

© «Литературная Грузия», 1997.

Типография издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

115/2

საქართველოს
ბიბლიოთეკა

